
ПОВЕСТЬ

Рудольф Артамонов
(г. Москва)

ПОВЕСТЬ О РУССКОЙ СОЛЬВЕЙГ*



Часть третья. ФИМА

— Сестра Ефимия, через неделю приезжают американские братья. Как раз будет крещение. Чтобы все было чисто — халаты, полотенца. Сама знаешь,— сказал Адам Васильевич, пресвитер.

Фима знала. Уже много лет она состояла членом церкви адвентистов седьмого дня в Москве. Последние десять — была диаконисой общины. В ее обязанности входило обеспечение главных событий — крещение новообращенных и вечера Господня. Это означало, что вместе со своими помощницами выстирывала до немыслимой белизны халаты для крещаемых и полотенца для вытирания ног при омовении.

Особенно Фима любила крещение. Приходила за несколько часов до начала молитвенного собрания. Вместе с помощницами снимала брезентовый чехол с бассейна и напускала в него воду. Если была зима, воду подогревали, и Фима измеряла температуру воды, чтобы крещаемые не простудились. Среди них были и старые люди, слабые здоровьем. В таинстве крещения она чувствовала себя вторым человеком после пресвитера. Адам Васильевич поднимал руку над будущим братом или сестрой, громко, чтобы слышно было во всем собрании, говорил торжественно:

— Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь! — и погружал крещаемых в воду, опрокидывая их назад, а потом помогал подняться. Как ни наставляла сестра Ефимия их, как следует вести себя, чтобы крещение прошло чинно и торжественно, не всем удавалось погружение в воду с головой перенести без испуга. И вот здесь Фима играла важную роль. Она помогала фыркающему, с ошалелыми глазами человеку подняться по ступеням из бассейна, накидывала ему на плечи сухое полотенце и провожала до комнаты, где можно было переодеться. Все это Фима делала с тихим молитвенным песнопением, подпевая хору, который в это время пел — «...у реки, у Иордана, пред Тобою я стою...» Тихое торжественное пение, всплески воды, люди в белых одеждах, стоящие по краю бассейна, громко раздающиеся под сводами молитвенного дома слова пресвитера — «Крещу тебя...» приводили Фиму в священный восторг. Больное сердце старой женщины билось учащенно и болезнен-

* Окончание. Начало см. в «ПЗ» № 1, 2011.

но, но Фима твердо знала, что Бог уберезет ее от сердечного приступа и не даст превратиться ее служению. Она часто попадала в больницу, ревмокардит давал о себе знать, но ни разу сердечного приступа не было во время крещения или вечера Господни. Это укрепляло ее веру в Бога.

После смерти Ромашки Фима нашла утешение в религии. Не сразу она пришла в адвентистскую церковь. «Долго блуждала во тьме»,— говорила она. Побывала пятидесятницей, православной. От пятидесятников у нее осталось тягостное воспоминание. В тесную ее комнату приходили сумрачные люди, падали на колени, закрывали глаза и начинали бормотать непонятные слова. У нее не получалось говорить на «иных языках». Эти сумрачные люди заставляли часами стоять на коленях и молиться, молиться, пока язык не станет заплетаться. Фима боялась этих людей. Отвязаться от них было трудно. Пришлось на месяц уехать в Сасово к Поле.

К адвентистам же Фиму потянуло то, что в отличие от православных, они так душевно говорили, их слова так легко воспринимались. Они называли друг друга сестрами и братьями и относились друг к другу, казалось Фиме, как настоящие сестры и братья. И ее легко приняли в свое сообщество. Но даже не это было, наверное, главное. Как сама безотчетно чувствовала Фима, было в них, адвентистах, что-то заграничное. Они опрятно одевались. В их доме молитвы, церкви, было просто и уютно, по-домашнему. Проповедники говорили понятным языком. А в песнопениях было легко разобрать слова.

— Бог мое единственное утешение и опора,— говорила Фима Татьяна, тридцатилетней женщине, социальному работнику, прикрепленному собесом обслуживать ее, старую одинокую женщину. Когда вышло постановление о том, что граждане, прожившие в Москве более пятидесяти лет, имеют право на отдельную жилплощадь, Фима получила маленькую однокомнатную квартиру. Коммунальное житье-бытье для нее, наконец, закончилось. Всю жизнь свою в Москве она прожила с соседями. Они были разные. Голдберги были добрыми интеллигентными людьми. Любили Ромашку. Оставили ему пианино. Но с ними они прожили недолго, всего три года. После них поселилась многодетная семья Архиповых. Глава семьи, дядя Саша, был инвалид, ногу потерял на фронте. Неплохой был человек, но крепко выпивал. «Выпимши», мог побить свою жену Анну. Жизнь была шумной и беспокойной. Когда дядя Саша умер от вина и фронтовых ранений, Анна с четырьмя детьми вернулась в Кимры, откуда ее с двумя детьми дядя Саша взял в жены, и двое детей у них родились в Москве. Последними Фимиными соседями по квартире были Тухватуллины. Как и от кого, Фима не могла припомнить, но знала, что Алим, отец семейства, работает в органах. В это время она уверовала, или, как сама говорила, «познала Истину». К ней стали приходиться «сестры по вере». Фима побаивалась Алима. Сестры молились, пели молитвенные гимны, и Фима боялась, что за ней придут когда-нибудь ночью, как за Грегором, как за Львом Семеновичем Голдбергом. Но никто не приходил. Только однажды Алим, всегда пропадавший на работе с утра до поздней ночи, пришел к Фиме в ее маленькую комнатку и сказал ей вежливо, но твердо: «Ефимия Григорьевна, оставьте моих дочерей в покое. Вы догадываетесь, о чем я говорю?» Фима испугалась и беспрекословно подчинилась. Она перестала приглашать к себе двух девочек, дочерей Алима Тухватуллина, Галию и Раису, и говорить им о Боге. Она считала своим христианским долгом рассказать юным душам о Христе, сделать благое дело, как когда-то старинная соседка Мирра Голдберг сделала для ее сына Ромашки. Больше с Алимом Фима не сталкивалась, но затаенный страх перед ним у нее остался. Этот страх исчез только тогда, когда что-то удивительным образом изменилось в окружающей Фиму жизни. Вдруг Адам Васильевич объявил, что те сестры и братья, у кого нет Слова Божия — Библии, могут ее получить бесплатно. Братья из Америки и Германии прислали достаточное количество экземпляров. Потом эти самые братья

и сестры оттуда, из-за границы стали присылать русским адвентистам гуманитарную помощь — одежду, продукты, а затем и сами стали приезжать в их общину. А еще потом, о чудо Божие! в Кремлевском Дворце Съездов будет произносить проповедь проповедник из Америки. Вот в это время и подросла отдельная квартира, и бояться стало больше некого.

Но жить в отдельной квартире ей пришлось уже одной. Появлению Татьяны Фима была рада. Та приходила к ней два раза в неделю. Получала заказ на покупки и отправлялась в магазин. Хлеб, молоко, крупы. «Ну, и что-нибудь сладенькое»,— под конец прибавляла Фима. Все покупки и истраченные деньги Татьяна записывала в особую тетрадь. Фиме нравилась Татьяна, мать двоих детей, девочек, подрабатывавшая социальным работником за небольшие деньги к семейному бюджету. Убедившись в порядочности и доброте Татьяны, Фима перестала заглядывать в тетрадь, где четкими столбцами, как в ученической тетрадке по арифметике, были записаны названия продуктов и напротив них цифры рублей и копеек.

— Приходи к нам на крещение. Тебе будет интересно. Приедет делегация из Америки,— сказала Фима Татьяне.

Татьяна знала, что ее подопечная — Ефимия Григорьевна Кузнецова, инвалид второй группы, 77 лет, верующая. Но не православная, а сектантка, евангелистка, или баптистка.

— А в воскресенье проповедник из Америки, брат Финли будет произносить проповедь, знаешь, где? В Кремле!

— Не может быть, Ефимия Григорьевна. Вы что-то путаете. Это невозможно.

— Танечка, для Бога нет невозможного. Приходи и сама увидишь. Можешь взять детей и мужа.

— Не знаю, Ефимия Григорьевна. Дел по горло.

— Главное дело — спасти свою душу. Вот о чем надо заботиться, дорогая моя Танечка.

Что-то сохранилось в Фиме от ее прежней жизни. Может быть, пример Грегора стоял перед ее глазами. Она удивлялась, когда видела, с каким рвением он относился к своей работе, как горячо выступал перед рабочими на заводах и говорил о коммунизме, о светлой жизни и о том, что этому делу надо отдавать себя всего без остатка. Она тоже посвятила теперь свою жизнь служению, но только не коммунизму, как Грегор, а Богу. Ее деятельное участие в жизни общины заметили старшие братья и назначили ее диаконисой. Подходила по всем статьям — вела благочестивый образ жизни, вдова, бездетная. Фима посещала больных, распределяла гуманитарную помощь между нуждающимися членами общины, которая стала теперь приходиться от адвентистов из Европы. Жизнь для Фимы переменилась, и переменилась к лучшему. Если раньше сказать о том, что она христианка, и не православная, а сектантка, как их, адвентистов, называли, было боязно, то теперь никому не стало дело до того, кто ты. Где-то за Окой открыли семинарию, где учат на проповедника. Фима очень хотела туда поехать посмотреть, но слабое здоровье не позволяло. Силы ее уходили. Как поздно наступили такие благословенные времена, когда можно служить Господу, никого не боясь и не терпя унижение. Но Фима была благодарна Богу, что дожила до такого времени.

— Не удивляйся. Все по Писанию,— говорила она Татьяне, готовой, как казалось Фиме, принять слово Божие в свое сердце и стать ее духовной дочерью. — Бог обещал, что перед концом света наступит время, когда Истина будет возвещена всему миру. А ты говоришь, дел по горло. Надо спасать себя, своих детей, мужа.

Фима умела говорить убедительно и даже страстно, когда говорила о Боге.

Так же она говорила о Боге и своей «сестре по плоти» Пелагии, когда та, не задолго до своей смерти, приезжала навестить Фиму в Москву.

— Ишь, какая речистая стала. Бога нашего, православного не трожь,— сказала Пелагия. — Никакие мы не идолопоклонники. Так наши отцы веровали. В кого ты такая? Это же вера иностранная.

— Это вера истинная,— решительно сказала Фима.

Но дальше о вере сестры, две старые седые женщины, спорить не стали. Поплакали о Лизе, младшей сестре, десять лет назад умершей в далеком городе за Уралом на руках своего белокурого (какой он сейчас?) капитана. Обнялись и простились, понимая, что видятся, наверное, в последний раз.

— Буду за тебя молиться, чтобы там,— Фима показала глазами наверх,— мы были с тобой вместе.

«Одурела совсем на старости лет Фимка»,— думала Пелагия, уезжая из Москвы в Сасово к своему одноному мужу.

— Так что, Танечка, приходи. Впусти Бога в свое сердце, и будешь спасена.— сказала Фима.

— Постараюсь,— уклончиво ответила Татьяна.

* * *

Братья и сестры из-за рубежа теперь часто приезжали в московскую общину адвентистов. Поначалу их вид и поведение удивляли и вызывали недоумение у Фимы. В московской общине нельзя было появиться на молитвенном собрании с обнаженными руками. Старшие братья строго следили, чтобы женщины надевали блузки с длинными рукавами. Прическа должна была быть скромной, никаких завивок. О том, чтобы женщины губы красили, не могло быть и речи. А вот иностранные адвентисты, особенно американские, поразили всех своим видом. Женщины явились не только с обнаженными руками, но и в брюках, а некоторые в шортах. Фиолетовые кудряшки украшали головы пожилых женщин. Мужчины говорили громко и, сверкая вспышками, фотографировали даже во время богослужения.

— Как же так? — спрашивала Фима пресвитера.

— У них так принято,— неуверенно отвечали старшие братья на такие вопросы челнов своей общины.

— Видите ли, они приехали в Москву туристами. Может быть, у них нет с собой подобающей одежды,— отвечали более догадливые.

— Бог им судья, а мы будем следовать своим путем,— говорили те, для кого молитвенный дом был домом Бога и кто приходил в него с душевным трепетом, отрешившись от всего земного.

Фима принадлежала к последним. Она приходила в Дом молитвы одетая в темное, и даже в жаркую погоду в чулках. Все, что могло отвлекать от молитвенного сосредоточения, она осуждала. В один из самых первых визитов американских братьев в их общину, во время крещения, когда она помогала новообращенной сестре выйти из воды, чернявый седеющий мужчина ослепил ее вспышкой фотоаппарата. Фима недоумевала — «как можно?» Адам Васильевич успокоил ее — «сестра Ефимия, американские братья хотят как можно больше знать о нас. Долгое время они даже не знали о нашем существовании здесь в Советском Союзе».

Фима смягчилась. Улыбчивые, дружелюбные иностранцы все больше располагали ее к себе. Они могли обнять за плечи, похлопать ласково по спине, громко рассмеяться. Что-то неуловимое и необъяснимое в них напоминало ей Грегора. Трудные долгие годы не смогли полностью стереть из ее памяти образ смуглого, черноволосого мужчины, говорившего по-русски с акцентом, сумевшего в короткие два года дать ей такое счастье, которого ей хватило на всю жизнь... Даже теперь, спустя столько лет, ее, ревностную христианку, всю себя посвятившую служению Богу, порой посещали сладостные воспоминания о плотской любви с Грегором. Она старалась отго-

нять их от себя, боясь их греховности. Но чем старше становилась Фима, тем чаще они ее посещали...

После крещения или окончания молитвенного собрания иностранные адвентисты обычно садились в автобус и уезжали. У них была еще культурная программа. Перед тем, как уехать, они дарили своим московским собратьям Библии в черных переплетках с тоненькими, как папиросная бумага листами, фотографировались на память с московскими братьями и сестрами по адвентистской вере, брали адреса, чтобы прислать «парсл». В маленькой квартире Фимы появились красочные открытки с изображением Христа с посохом в руке, несущего на руках белую овечку, или окруженного малыми детьми, с восторгом и умилением глядящими на него, глянцевые красочные адвентистские журналы, рассказывающие о том, как Слово Божие проповедуется по всему миру и как тысячи людей крестятся в адвентистскую веру.

Иногда иностранцы принимали приглашение старших братьев и приезжали на проспект Мира, где у московских адвентистов в трехкомнатной квартире находилось Правление.

Как диакониса Фима всегда принимала участие в этих братских трапезах. Вместе с еще несколькими сестрами она готовила и накрывала на стол. Шеф-поварское искусство, освоенное в годы эвакуации в Сасове, очень пригодилось. Фима готовила вкусно. Иностранцам нравилось. Они говорили — о'кей, файн — и улыбались Фиме. Когда все было готово и накрыто, Фима тоже садилась за стол. Она умела вести себя за столом подобающим образом. Этому она научилась у Грегора. Она не была тщеславна. Но ей хотелось показать иностранцам, что русские адвентисты тоже вполне цивилизованные люди. Из старших братьев только Мацанов Павел Андреевич, родом из Прибалтики, по мнению Фимы, имел хорошие манеры.

Умело действуя ножом и вилкой, стараясь прямо держать свою ослабевшую под тяжестью лет спину, беззвучно отпивая маленькими глоточками чай, Фима вслушивалась в иностранную речь, которая когда-то звучала и в ее доме, когда к Грегору приходили его друзья по Коминтерну. Она вглядывалась в лица иностранных адвентистов и искала в них что-либо, что могло бы напомнить ей Грегора. Нет, ничего похожего в них не было. Это были немцы, американцы, финны — светловолосые, с узкими костистыми носами. Если и случались среди них черноволосые, то были они белокожие.

Воспоминания о Грегоре Фима старалась отгонять от себя в эти минуты. Старалась сосредоточиться на том, о чем говорили эти жизнерадостные и уверенные в себе люди, совсем не похожие на своих, московских, адвентистов, редко улыбававшихся и всегда серьезных, готовых порицать и наставлять. Ей иногда казалось, что они, эти иностранцы, потому и стали адвентистами, чтобы ездить свободно по разным странам и смотреть, как там живут другие люди. Мысли о Боге, наверное, занимают мало места в их головах и сердцах. Они интересовались музеями, выставками и билетами в консерваторию.

И эти мысли Фима старалась отгонять от себя. «Бог им судья,— думала она,— а мы будем твердо стоять в вере, как нас наставляют наши старшие братья».

В их общине появились молодые люди, тоже адвентисты, знающие иностранные языки. Один из них, сын Адама Васильевича, окончил адвентистские курсы в Англии, свободно говорил по-английски и всегда был на этих встречах переводчиком.

Иностранные адвентисты рассказывали о том, как Слово Божие успешно распространяется по миру, как после проповеди брата Финли сотни и сотни людей обращаются к Богу и принимают адвентистское крещение. Вот теперь и в Советском Союзе тысячи и тысячи людей собираются послушать проповедь о Боге, и никто уже не препятствует этому. Что скоро, совсем скоро Слово Божие будет проповедано по всему миру и придет тогда Господь судить мир.

Эти слова вызывали в сердце Фимы благостное чувство. Она была уверена, что

если бы Грегор дожил до этого времени, то непременно был бы адвентистом. Он был такой нежный и добрый человек, он никогда не сердился, на своих выступлениях перед рабочими он всегда терпеливо отвечал на вопросы, растолковывал положение дел в мире и коммунистическом движении, говорил просто и понятно. «Он был бы хорошим проповедником»,— думала Фима, и слезы умиления текли по все еще смуглым, но уже обвисшим щекам старой женщины. Она вытирала их кончиком надушенного платка, и все думали, что сестра Ефимия плачет от радости за успешное распространение Евангелия по всему миру.

По окончании трапезы гости и хозяева переходили в другую комнату, где стояло пианино. Раскрывали сборник молитвенных песен, регент хора Елизавета Гургеновна, черноволосая армянка с темным лицом и орлиным носом, садилась за инструмент, и московские адвентисты пели для своих иностранных братьев. Потом наступала очередь гостей. Это было странное, непривычное для Фимы пение. Оно было так похоже на эстрадные песни, передаваемые по радио и телевизору, что она, в первый раз услышав их, была едва ли не возмущена. Но дальше, больше. Однажды приехала целая группа молодых адвентистов из Америки. Они в молитвенном доме под гитару и какие-то другие, неведомые Фиме музыкальные инструменты пели так громко, притоптывая ногами, и так энергично всем своим телом делали ритмичные движения в такт музыки, что старые челны московской общины в недоумении перешептывались и переглядывались, а после собрания пришли к пресвитеру и потребовали объяснений. Добрейший Адам Васильевич только пожимал плечами.

На Фиму музыка действовала особенно сильно. Сильнее даже, чем слова проповеди. Бог теперь всецело владел ее сердцем. Но в нем, в сердце, всегда оставалось место воспоминаниям о сыне и Грегоре. Только их не хватало, чтобы пламенно верующая в Бога старая женщина была совершенно счастлива. Чем старше она становилась, тем чаще образы сына и Грегора вставали перед ее внутренним взором. Одинокими вечерами в своей однокомнатной квартире она порой почти физически ощущала их присутствие. Это ощущение было настолько сильным, что она разговаривала с ними, думала о том, понравится ли им еда, которую она приготовила для себя. Чаще всего она говорила им о Боге. Она была уверена, что они легко примут Бога в свое сердце. А если не примут? Нет, такой мысли Фима не допускала. Если не примут, значит там, на небе, они не будут вместе?! Эти мысли так сильно волновали ее, что в ее сердце возникала боль. Боль приводила ее в себя. Она начинала понимать, что Грегора и сына давно нет на этом свете, и рассказать им о Боге она уже никогда не сможет.

Музыка же действовала на нее так сильно потому, что она особенно легко вызывало перед ее внутренним взором образы двух дорогих ее сердцу людей.

Ее Ромашка сыграл бы не вот эту американскую, такую легкомысленную музыку, он сыграл бы музыку классическую, красивую, угодную Богу...

Когда визит иностранных адвентистов заканчивался, Фима по телефону заказывала для них такси. Гости поднимались, жали хозяевам руки, улыбались, а Фиму благодарили за вкусную еду, говорили — о'кей, файн,— и легонько похлопывали по спине.

* * *

— Что же ты не приходила в собрание? Было крещение. Приезжали американцы.— говорила Фима Татьяне.

Фима лежала больная.

В последнее время она стала часто прихварывать. Неугомонный образ жизни - два раза в неделю — в среду и субботу молитвенные собрания, посещения больных, развоз гуманитарной помощи по нуждающимся — становился ей уже не по силам. Старшие братья поговаривали, что пора ей на отдых, обещали платить пенсию, как старейшему члену общины, много потрудившемуся на ниве Божьей. Фима не хотела,

боялась уходить на покой. Но болезни все чаще сваливали ее. Больше всего она боялась сердца и давления. Все чаще по ночам она просыпалась от болезненного сердцебиения. Зажигала лампочку на тумбочке у кровати. Принимала лекарства. После приступа всегда возникал позыв помочиться. Она вставала и, держась за стены, осторожно шла в туалет. В эти минуты она боялась упасть. Ее воображению рисовалась картина, как она лежит одна на полу в коридоре. Пройдет неделя, а может быть две, прежде чем кто-нибудь из общины соберется ее навестить. А она уже будет мертвая, холодная. Все будут плакать по ней, говорить, что сестра Ефимия была хорошей христианкой, и радоваться, что она ушла, будучи в истинной вере, и потому на небесах ее ждет вечное блаженство. Эти мысли все чаще посещали Фиму, слезы умиления тогда текли по ее щекам и страх смерти пропадал.

Татьяна вызвала врача.

Участковый терапевт, пожилой сутулый мужчина с седыми до желтизны прямыми волосами, хорошо знавший Фиму по частым вызовам, сказал: «Голубушка, пора перестать бегать, как конь. Не девочка».

— Николай Петрович, пока Бог дает силы, буду бегать,— ответила Фима.

— Так вот уже не дает. Давление низкое. Упадешь на улице.

— Господь не допустит. Ты, Николай Петрович, скажи лучше, когда в дом молитвы придешь. Тоже не молодой. Пора готовиться к встрече с Богом.

— Все проповедуешь,— сказал врач. — Никак не угомонишься.

Такой разговор каждый раз повторялся между Фимой и Николаем Петровичем.

Доктор наказал Татьяне посидеть с больной хотя бы полчасика, посмотреть, как она себя будет чувствовать после приема лекарства, и ушел, унося на своих сутулых плечах груз забот о своих пациентах.

— Так что же ты не приходила в собрание. Было так торжественно. Были американцы. Фотографировали крещение. Один был очень похож на Грегора,— говорила Фима Татьяне, севшей рядом с ее кроватью, чтобы понаблюдать за ней с полчасика.— Такой же смуглый и широконосый, только седой весь. У Грегора в молодости волосы были черные, как смоль. Меня фотографировал.

В дни болезни, когда Фима надолго вынуждена была оставаться в своей однокомнатной квартире, она была рада каждому человеку, посещавшему ее. Больше всех жаловала Татьяну. Привязалась к тихой и милой женщине, умевшей слушать терпеливо и внимательно, не поглядывая на часы. Ей Фима рассказывала не только о Боге, но и о своей жизни. Доверительно, как младшей подруге.

Татьяна знала, что когда-то давно, еще до войны, Ефимия Григорьевна была замужем за иностранцем, очень хорошим человеком. Что они вместе прожили недолго. Что сначала Ефимия Григорьевна не очень его любила, боялась даже, а потом поняла, что он хороший, добрый человек. Таких людей она уже никогда не встречала и поэтому замуж больше не выходила.

«Но он был смешной человек»,— говорила она, и Татьяна видела, как в Ефимии Григорьевне пробуждается из далекого прошлого практичная и даже озорная женщина. Она рассказывала о том, как этот смешной иностранец, «коммунист до мозга костей», очень редко пользовался льготными талонами на разные Коминтерновские блага. Как ей приходилось штопать ему носки, как Грегор занашивал ботинки, пока не отрывались подошвы, а он, вот чудак! стеснялся брать себе новые. Только когда родился Рамон, сын, муж стал брать по талонам хорошие продукты для нее, Фимы, чтобы у нее было молоко. Все чаще, видимо от старости, считала Татьяна, Ефимия Григорьевна рассказывала ей даже подробности своей интимной жизни. «Он допоздна сидел за своими бумагами, все писал что-то. Мне становилось скучно. Я говорила ему, хватит, Грегор, иди спать! Он приходил ко мне, озябший. Я как обниму его крепко. Он только скажет — О, Фима!»

Фима рассказывала и о сыне. Почему-то Татьяне она называла его не Ромашка и не Роман, а как он был назван Грегором — Рамон. Воспоминания о сыне всегда сильно волновали старую женщину. Если гибель мужа она связывала с действием каких-то, хоть и смутно ведомых, но могучих, необоримых, как судьба, сил, то в смерти сына она считала повинной себя. «Не надо, не надо было отправлять его в лагерь. Но на лето не с кем же было его оставлять. Это я настояла, чтобы Рамона взяли на три смены. В третью смену он и погиб...» Ефимия Григорьевна рассказывала Татьяне, как в то злосчастное лето она устроила сцену в профкоме завода КИМ. «Я пойду и брошусь сейчас под трамвай. Я писала заявление на три смены, а вы даете две. Они испугались, покричали, покричали и, в конце концов, дали третью смену».

Рамон не любил лагерь. Ездил туда с неохотой. Но понимал, что другого выхода нет, и, не прекословя матери, соглашался. Фиме некуда было девать его на лето. Оставлять в городе она боялась. Боялась, что улица и беспризорность погубят ее сына. Рамон рос самостоятельным мальчиком, он уже понимал, что добро, а что зло. Но грех, он ведь сильнее человека. И не таких, как Рамон, улица губила. А Фима хотела сберечь сына, вырастить его добрым, умным, каким был его отец. Соседи над Фимой смеялись. Когда Рамон садился делать уроки, она запрещала соседским детишкам шуметь, чтобы не мешали. А когда Рамон садился за пианино, Фима, наоборот, зазывала детей, усаживала и заставляла слушать игру сына. Они, высидев с полчаса, разбегались. Оставшись с сыном наедине, Фима просила Ромашку поиграть ей песню Сольвейг. Сыну говорила, что ей очень нравится мелодия. Но не только мелодия привлекала ее. В души она испытывала глубокую симпатию к Сольвейг. Фима находила в судьбе Сольвейг что-то сходное со своей судьбой. Разница была только в том, что та дождалась-таки своего непутевого мужа, а ей, Фиме, не суждено больше увидеть своего верного, любящего Грегора.

На глазах Татьяны навертывались слезы, когда она уже в который раз слышала этот рассказ Фимы о Рамоне, о его гибели, о Сольвейг.

В то лето Рамона назначили быть пионерским горнистом. Он знал музыку, ноты. Таких среди детей в лагере не было. Рамону нравилось играть на трубе. Он любовно ухаживал за ней. Натирал ее мелом до блеска, до сияния. Когда Фима в родительский день приехала навестить его в лагере, Ромашка с гордостью показывал ей трубу. Песня Сольвейг на трубе звучала тоже очень красиво. Он сыграл ее для матери после того, как продемонстрировал все обязательные в лагерной жизни сигналы — «утреннюю побудку», «построение на линейку», «призыв на обед», «отбой». Рамон и на трубе играл очень хорошо. Начальник лагеря перед всеми родителями хвалил Романа Кузнецова за серьезное отношение к своим обязанностям горниста. Фима гордилась сыном. Хотя теперь понимает, что делать это было нехорошо. Грех...

Рамон умер от воспаления брюшины. Проглядели аппендицит. Операцию сделали поздно. Лежал он в маленькой деревенской больнице, что была недалеко от лагеря. Фиме не сообщили, что он в больнице. Сообщили только о смерти...

Всякий раз, когда рассказ Ефимии Григорьевны доходил до этого места, ей становилось плохо с сердцем, и Татьяна давала ей валокордин или капли Вотчала. Иногда Татьяне удавалось своевременно отвлечь ее, перевести разговор на что-нибудь другое и не дать Ефимии Григорьевне дойти до самых горьких воспоминаний.

Татьяна видела, что старая женщина жила как бы в двух жизнях одновременно. Рядом с теперешней, все еще деятельной, полной мыслями о Боге, церковного служения, идет другая жизнь, жизнь в прошлом. Первая — чиста, аскетична, духовна. Вторая — полна до сих пор волнующими душу и плоть воспоминаниями, дорога своей неповторимостью, невозвратностью. Эта вторая жизнь все настойчивее давала о себе знать. Все чаще будоражила сердце старой женщины, вырывалась наружу повторяющимися рассказами об одном и том же.

— Ладно, иди, милочка. Мне легче стало,— сказала Ефимия Григорьевна Татьяне.— Замучилась ты со мной.

— Я еще завтра зайду. Не нравиться что-то вы мне.

— Вот уже и не нравлюсь,— пошутила Фима.— Возьми со второй полки слева книжечку Елены Вайт. Почитай. Что будет непонятно, спроси, я тебе разъясню. Это дух пророчества, предвестник последнего времени...

— Ефимия Григорьевна, я побежала.

* * *

Предчувствие не обмануло Татьяну.

К Ефимии Григорьевне Кузнецовой на другой день решила зайти к первой из своих подопечных.

Дверь долго не открывали. Потом за дверью услышала шаркающие нетвердые шаги и звук поворота ключа в замке. Но войти не удалось, Дверь оказалась закрытой на цепочку. В приоткрытый проем высунулась рука Ефимии Григорьевны. Она поймала Татьянину руку и крепко ее сжала, не отпуская.

— Ефимия Григорьевна, что с вами, откройте. Это я, Таня.

За дверью раздавалось нечленораздельное мычание.

Татьяна все поняла сразу. Она уже год работала соцработником и за этот год дважды видела, как у старых женщин развивается инсульт. За несколько часов они перестают узнавать окружающих, отнимается речь или даже теряют сознание, падают.

С полчаса она простояла за приоткрытой дверью, и все это время Ефимия Григорьевна не отпускала ее руку и мычала пугающе неузнаваемым голосом.

Потом неожиданно цепочка упала, дверь открылась, и Татьяна вошла.

Перед ней стояла Ефимия Григорьевна с растрепанными волосами. По ее лицу была размазана запекшаяся кровь.

Старая женщина начала оседать на пол. Татьяна едва успела подхватить ее. С трудом дотащила до кровати и уложила на скомканную постель.

Худшие опасения подтвердились — у Ефимии Григорьевны, старой неугомонной женщины, историю жизни которой она теперь знала до мелочей и оттого дорогой ей больше всех других ее подопечных, был инсульт.

Он случился, скорее всего, ночью. Фима боролась за свою жизнь. Видимо, слабея, падая, она старалась хоть как-то удержаться на ногах. На стенах в коридоре, прихожей, на двери туалета были кровавые полосы, оставленные ее пальцами, когда она сползала вниз. Татьяна сняла прилипшие к лицу Ефимии Григорьевны волосы и увидела на лбу глубокую рану с запекшейся кровью.

«Скорая» проехала быстро.

— Ишемический инсульт, как пить дать,— сказал врач. — Если сердце хорошее, оклемается. Вы кто ей будете?

Молодой человек в неопрятном халате нараспашку действовал быстро и уверенно.

— Одинокая? Поможете собраться? Хорошо. Беру наряд в больницу.

Пока ехала перевозка, Татьяна сидела у постели Ефимии Григорьевны. Болезнь сильно изменила ее лицо. Смуглая кожа стала серой. Глаза, прикрытые веками, были неподвижны. Морщины стали глубже.

На минуту сознание вернулось к ней.

— Ты кто? — чужим хриплым голосом спросила она.

— Таня я, Ефимия Григорьевна, Татьяна. Узнаете меня?

Фима не отвечала. Взгляд ее снова свидетельствовал об отсутствии сознания.

Татьяна заплакала. Ей по-женски было жалко Ефимию Григорьевну, прожившую такую тяжелую, бедную радостями жизнь, и теперь умиравшую в одиночестве. Ни родные, ни близкие не окружали ее. Кроме нее, Татьяны, некому было поплакать над

ней. Сколько раз Татьяна говорила Ефимии Григорьевне, что надо поменьше ездить, побольше дома сидеть. Церковь и без нее обойдется. Нет, неутомная старуха каждый день находила повод куда-то поехать. Цветы купить к тайной вечере, «чтоб красиво и торжественно было в доме Божиим», накормить хористов на спевке — «они ведь после работы собираются», посетить больных и одиноких членов адвентистской общины. Когда из заграницы стала приходить гуманитарная помощь — крупы, печенье, сахар, кое-что из одежды, Ефимия Григорьевна уговорила Татьяну, и та поддавалась ее пламенным речам и вместе с ней ходила по ближайшим адресам, разносила сумки с продуктами. Татьяна не раз видела, как Ефимия Григорьевна, садясь в автобус, неустрасливо вступала в беспокойную толпу людей, рвущихся в дверь, и они расступались перед энергичной старушкой, и кто-нибудь обязательно помогал ей взобраться в автобус...

Не раз Татьяна заставляла ее после таких поездок еле живую, безмерно уставшую, глотающую лекарства. Но проходил день и на следующий она снова собиралась куда-то ехать, что-то делать, что без нее никто сделать не мог.

Теперь Ефимия Григорьевна лежала с окровавленным лицом, с вытянутыми вдоль туловища руками и тяжело, хрипло дышала. Татьяне казалось, что это был конец.

* * *

Фима не умерла.

Ни ревматизм, ни тяжелая жизнь, выпавшая на ее долю, не побороли в этот раз ее организмы. Медленно к ней возвращалось сознание. Заживала рана на лбу, полученная от удара о дверной косяк, когда ночью она направлялась в туалет и упала, так как в глазах вдруг стало совсем темно, все вокруг закачалось, ослабели ноги. Потом в темноте, старалась подняться на ноги, боясь остаться лежать на полу. Дрожащими пальцами убирала прилипавшие ко лбу волосы, размазывая кровь по лицу. Поднималась и снова падала, оставляя кровавые полосы на обоях.

Все события той ночи постепенно вспоминались ею. Она долго не могла понять, где находится. С удивлением смотрела на белые стены, лица медперсонала, склонявшиеся над ней. Не понимала, почему ей делают больно и переворачивают ее, когда под ней становилось мокро.

Ночью в ее мозгу рождались видения прожитой жизни, невероятно яркие и правдоподобные, и в то же время искаженные какой-то немислимой фантазией. Ей чудился Грегор, но не молодой и черноволосый, а седой, старый, с фотоаппаратом в руках. Тогда она начинала прихорашиваться, и окружающие видели, как больная Кузнецова шарит по себе руками, отрывает полоски простыни, завязывает узелки, поправляет волосы.

То рядом с ней был Ромашка. В ее видениях он всегда уходил от нее, медленно удалялся и становился все более неясной фигурой. Она протягивала к нему руки и кричала, звала его, но для окружающих это было просто двигательное беспокойство, сопровождавшееся нечленораздельным мычанием, больной женщины с ишемическим инсультом.

Иногда лицо ее просветлялось, на глазах выступали слезы, она складывала руки перед собой, и губы приходили в движение. Никто не догадывался, что в это время Фима представляла перед лицом Бога и молила его о спасении дорогих ей людей. Прежде всего, Грегора Майкота, не то американца, не то мексиканца, которого она когда-то любила и о котором она не знала, успел ли он стать перед смертью адвентистом. Она молилась также о Ромашке, сыне. Она считала, что он безгрешен, и хотя не успел покреститься в адвентистскую веру, будет спасен, если горячо просить об этом Бога. И она просила, сложив молитвенно руки на груди.

Когда Татьяна пришла в больницу, чтобы передать паспорт Ефимии Григорьевны и страховой полис, она узнала, что та жива и постепенно приходит в себя.

Татьяна поднялась в отделение. Ефимия Григорьевна лежала не в палате, а в коридоре, на высокой кровати с высокими бортами.

Татьяна склонилась над ней, и Ефимия Григорьевна ее узнала. Глаза и лицо ее напряглись. Она что-то хотела сказать, но не могла. Издавала только звуки, напоминавшие мычание. Но руки слушались ее. Она взяла руку Татьяны и крепко ее сжала, долго не отпускала, шевелила губами, но, видимо, убедившись, что сказать, что хотела, не сможет, отпустила руку, и на глазах у нее выступили слезы.

Татьяна стала навещать Ефимию Григорьевну в больнице. Делать это в ее служебные обязанности не входило. Должна была обслуживать только на дому. Но оставить без присмотра старую одинокую женщину не могла.

Первое, что попросила Ефимия Григорьевна, когда речь вернулась к ней, сообщить в общину о том, что с ней и где она.

К ней стали приходиться сестры из молитвенного дома. Это были пожилые женщины. Опрятно и просто одетые, они умело и деловито перестилали постель, выносили судно, кормили Фиму с ложечки. И, сделав дело, уходили. Когда сознание сестры Ефимии полностью прояснилось, они стали задерживаться еще на десять-пятнадцать минут почитать ей записи проповедей, читанных в церкви за время ее отсутствия на богослужении. После этого тихонько пели адвентистские песнопения.

С сестрами из церкви Фима разговаривала только о Божественном.

Когда же приходила Татьяна, Фима говорила с ней о мирском, чаще всего о своем далеком прошлом. Болезнь ослабила ее мозг. Реальные события перемешивались в ее большой голове с событиями явно фантастического характера.

Когда родился Рамон, Фима написала родителям Грегора.

— Куда? — спросила Татьяна.

— В Мексику. Или Америку. Уже не помню.

Через полгода пришел ответ. Родители Грегора писали, что они очень рады, что у нее родился сын, и что они очень надеются, что она, Фима, воспитает его достойным человеком.

Татьяна была в недоумении, как Ефимия Григорьевна могла знать адрес, на каком языке было написано ее письмо, и как она смогла прочесть письмо родителей Грегора. Ефимия Григорьевна не могла ответить на эти вопросы.

С другой стороны, старая, больная женщина вряд ли могла придумать такое письмо. Характер, стиль ответа говорили о том, что так написать могли только не русские люди — вежливо отказать в каком-либо участии в судьбе ребенка. Неужели сердце их не дрогнуло. Неужели хотя бы одним глазом им не захотелось взглянуть на ребенка их собственного, пусть и непослушного их воле, сына. Ефимия Григорьевна не знала ответа на эти вопросы.

Однажды Ефимия Григорьевна заявила Татьяне, что Грегор жив. Она уверена в этом. Он, Грегор был умный человек. Когда их расстреливали, он упал и притворился мертвым, вполне серьезно объясняла Фима оторопевшей от такого поворота событий Татьяне. А потом ему удалось убежать в Америку. Это он, Грегор, фотографировал ее в церкви, когда было крещение. Он никого больше не фотографировал, только ее, Фиму. Долго смотрел на нее, узнавал. А потом взял фотоаппарат и, несмотря на то, что во время богослужения фотографировать нельзя, сфотографировал.

— Почему же он не подошел к вам, если узнал? — в недоумении спрашивала Татьяна.

— У них была культурная программа,— убежденно отвечала Фима.— Их ждал автобус. Они не дождались конца богослужения, сразу после крещения сели в автобус и уехали. Он не мог остаться один. Он должен был ехать со всеми.

Старая женщина верила в то, что говорила. Была уверена, что отставать от всех нельзя. Раз вместе приехали, то и уезжать должны вместе.

А почему сама не подошла к нему? А потому что не сразу узнала его. Это потом она догадалась, что это был он, Грегор. Такой же смуглый. Широкий нос. Очень добрые глаза. Только седой. Так ведь сколько лет прошло. С тридцать девятого.

— Пятьдесят? Нет больше. Посчитай сама, я не могу,— сказала Фима Татьяне со слабой улыбкой, явно говорившей, что мозг ее ослабел и устал от воспоминаний.

Татьяна верила и не верила словам Ефимии Григорьевны.

Правдоподобие перемешивалось с явными фантазиями.

Однажды Ефимия Григорьевна заявила, что ее бабушка, Степанида Дмитриевна, была в услужении в царской семье. У старшей дочери царя.

— Какого царя? — не скрывая недоверия, воскликнула Татьяна. Уж на сей раз, полагала она, Ефимия Григорьевна точно фантазирует.

— Николая,— спокойно и уверенно ответила Ефимия Григорьевна.

— И какой же дочери она служила?

В это время по телевизору много показывали и рассказывали о царской семье, о расстреле в Ипатьевском доме. Перечисляли всех царских детей. Их имена были у всех на слуху. Татьяна ждала, что сейчас обнаружится вся фантастичность слов Ефимии Григорьевны.

— Старшей. Ольге. Ольге Николаевне,— последовал ответ.

Это было невероятно. Верить или не верить словам старой больной женщины? Фиме было все равно, верят ей или нет.

Воспоминания о прожитой жизни неудержимым потоком всплывали в ее голове. Их яркость, сила утомляли ее мозг. Тогда она впадала в забытие. Но и в забытие она прихорашивалась, поправляла на себе больничную рубашку, молитвенно складывала руки, плакала или смеялась.

Состояние Фимы то улучшалось, то ухудшалось. Иногда в забытие она приходила в сильное двигательное возбуждение, металась в кровати. Из рта вырывались нечленораздельные звуки.

Когда такое возбуждение случилось при Татьяне, она убедилась, насколько сильны руки Ефимии Григорьевны, бывшей шлифовщицы завода Красный пролетарий. Их было трудно удержать от разрушительного беспокойства. Эти руки, всегда занятые трудом, и в припадке забытия находились в постоянном движении — беспокойно перебирали складки одеяла, рвали на мелкие полоски больничную рубашку, опрокидывали подносимую чашку с питьем. Удержать эти руки от постоянного движения было трудно — они были сильные.

Приходить часто к Ефимии Григорьевне Татьяна не могла. Другие старики и старухи ждали ее помощи. Была еще семья, двое девчонок и муж. Но бросить одинокую старую женщину в больнице тоже не могла. Знала, что у медсестер в больнице руки до всех больных не доходят. Кто-то всегда остается без присмотра, ухода. Часто заставляла Ефимию Григорьевну в мокрой постели, голодную, с высохшими от жажды губами. Как могла она бросить ее? Не часто, но приходила.

Шла четвертая неделя пребывания Фимы в больнице.

— Танечка, надо написать Грегору письмо,— однажды сказала Ефимия Григорьевна.

Лицо старой женщины светилось радостью. Эта мысль, пришедшая ей то ли в забытии, то ли в долгие часы одинокого лежания на больничной койке, придала новую цель ее печальной жизни и наполнила ее некоторым смыслом.

Теперь в каждый приход к ней Татьяны Фима всякий раз начинала разговор с этой фразы.

— Я не знаю адреса. И вы не знаете адреса. Кому писать? — говорила всякий раз Татьяна. Отговаривать Ефимию Григорьевну от этой затеи было бесполезно. Она уже твердо верила, что Грегор не только жив, но и что он адвентист. Перед тем, как умереть она должна получить от него весточку, подтверждающую ее догадку.

— Адрес, Ефимия Григорьевна, адрес. Где его взять? — отвечала Татьяна.

— Татьяна, ты такая умная женщина. Пойди, наконец, в собрание и спроси у старших братьев. Они должны знать. Они поднимут бумаги, вспомнят, когда приезжали братья из Америки и найдут его фамилию. Ты им скажи — Грегор Майкот. И они дадут тебе адрес.

Фиме это казалось настолько очевидным и простым делом, что в тоне ее слов чувствовалось удивление и недоумение и даже превосходство, как это умная Татьяна не сообразила, а она, слабая больная женщина, сама додумалась, как раздобыть адрес.

Татьяна понимала всю бесполезность такой затеи, но отказать Ефимии Григорьевне не могла. Она соглашалась и обещала, но в собрание, или как Ефимия Григорьевна называла адвентистскую церковь, дом молитвы, не шла.

— Он обязательно придет, когда узнает, что я жива, — говорила убежденно Фима. Но после паузы иногда добавляла: — Может быть, у него другая семья есть... Ну и что ж. Он все равно придет. Как ты думаешь, Татьяна?

— Обязательно придет.

Такой разговор теперь повторялся каждый раз, когда Татьяна приходила навестить Ефимию Григорьевну. Он лишь дополнялся новыми мелкими деталями и подробностями, но тема разговора была всегда одна и та же.

Однажды пришлось сказать неправду.

— Была я в собрании. Один мужчина сказал, что они ищут бумаги, когда найдут, скажут адрес.

— Да, Татьяна? — Фима порывисто взяла и сжала руку Татьяны. — Буду молиться, чтобы нашли.

И Фима тут же, при Татьяне, сложила молитвенно руки на груди, закрыла глаза, и губы ее стали быстро шевелиться.

— Как жалко, что не сохранились фотографии Ромашки. Сына. Была одна, да и та пропала при переезде на квартиру. Нечего будет показать Грегору... Он ведь не видел сына. Я в положении была, на седьмом месяце. Пришли ночью. Сказали, куда-то вызывают. Он, наверное, знал, куда. Ничего не сказал. Стал собираться. Я-то ничего не понимала. Помогала ему одеться. А когда стал прощаться, заплакал. Он-то знал. Я не знала, куда его забирают...

По щекам Фимы потекли редкие слезинки. Потекли сами собой. В выражении ее лица ничто не изменилось.

— Я пошла к его друзьям. Никого уже не было... Сына он не видел. И фотографии нет. Тогда не до фотографий было. Если бы тогда я знала, что он жив и придет к нам, обязательно сохранила. Но я же тогда не знала, что он придет... Он ведь придет, Таничка?

В другой раз Ефимия Григорьевна рассказывала, как провожала Грегора на вокзале. Где была правда, а где вымысел, понять было невозможно.

— Каком? — недоуменно спросила Татьяна. Ведь Грегора Майкота забрали ночью из дома. О вокзале Ефимия Григорьевна упоминала в своих рассказах о Грегоре в первый раз.

— Не помню. Наверное, Виндавском?

— Нет такого в Москве.

— Сейчас нет, а тогда был, — уверенно сказала Фима. — Грегор плакал. Его друзья говорили ему, чего ты плачешь, бери Фиму с собой. А он говорит, куда же я Фиму возьму, когда сам не знаю, куда нас везут. Да еще с маленьким ребенком.

— Вы говорили, что Грегора забрали, когда сын еще не родился, — напомнила Татьяна.

— Да, не родился. Я в положении была. Но когда я на вокзале была, на руках у меня был мальчик. Я точно помню.

Татьяна сочувственно смотрела на старую женщину. Прожитая давно жизнь не давала покоя ее слабеющей памяти. Будоражила ее голову. И что в этих воспоминаниях было в реальности, а что порождено болезнью, отличить было невозможно. Одно не вызывало сомнений — был Грегор, был Ромашка, сын, была счастливая, но очень короткая семейная жизнь. А дальше... А дальше были годы и годы трудной одинокой жизни, хоть и скрашенной верой в Бога, но не изгладившей воспоминаний о том коротком счастье.

Две недели Татьяна не навещала Ефимию Григорьевну. Надо было оформлять в первый класс старшую дочь.

Когда она через две недели пришла, она не смогла узнать Ефимию Григорьевну. Та лежала без сознания. Всю левую половину лица занимал огромный синяк. Ее руки и ноги были привязаны к краям кровати полотенцами. Медицинская сестра сказала, что два дня назад больная Кузнецова впала в возбужденное состояние и упала с кровати на пол. Случилось это ночью. Поднять с полу было некому. В палате одни парализованные старухи...

Татьяна осторожно развязала руки и ноги Ефимии Григорьевны, перестлала под ней мокрую постель. Попыталась накормить, но зубы ее были крепко стиснуты.

Это был конец.

Фима больше не приходила в сознание. Сидеть у постели бессознательной больной не было смысла.

Татьяна забежала в больницу, если было по пути. Перестилала мокрую постель, сделала попытку накормить Ефимию Григорьевну и уходила, потратив на все не более пятнадцати минут.

Ефимия Григорьевна умерла на ее руках. Татьяна забежала, как всегда, на пятнадцать минут. Когда она пошевелила больную, та открыла глаза и спокойно, вполне разумно посмотрела на нее.

— Он приехал? — ясным чистым голосом спросила Фима.

Татьяна не смогла произнести ни звука. Она слабо кивнула головой.

— Как хорошо, — сказала Фима.

Она закрыла глаза. Грудь ее судорожно поднялась и опустилась. И Фима перестала дышать.

* * *

В обязанности социального работника входила и организация похорон одиноких стариков.

Фиму похоронили на Троекуровском кладбище. У могилы без креста, так полагаются по адвентистским правилам, Татьяна постояла вместе с сестрами и братьями Ефимии Григорьевны по вере. Те спели несколько молитвенных гимнов. Постояли и разошлись. Последней ушла Татьяна.



Илья Луданов*
(г. Узловая)

СЕКРЕТ НЕБОСВОДА
(История одного села)



В тот год мы наконец-то добрались до аграриев. Скорее потому что другие темы знаменитых в начале века «нацпроектов» стали замарываться, о них все, казалось, было сказано, а вот с результатами «по селу» никак не налаживалось, и на «периферии» все было как и десять и двадцать лет назад: по всей стране медленно затихали деревни, рваные поселки, серые своей неизменностью, и какие-то хронически отчаянные городки среди бескрайних просторов русского лесостепья.

Надо было что-то делать: крупные чиновники уже изъездили в высоких креслах, листая убогую статистику с полей и скотных дворов, им нужны были примеры чтобы доказать — «да, и у нас, знаете ли, деревня может жить хорошо, самодостаточно, быть примером другим и всем дотошным до модного выражения «качество жизни» западникам утереть нос.

За пару месяцев я объездил с десяток прибыльных хозяйств и вовсю готовил о них материал в наш журнал. В тех местах действительно многое строилось, закупалась техника, скот, рабочие получали приличные деньги. Но стоило поглубже взглянуть на эту картину благополучия, как тут же припудренной коррозией проступал весь фон искусственно созданного положения: либо хозяйство расцвело по воле какого-то столичного банкира, решившего удобным способом отбелить свои капиталы и вкладывающего деньги во все, что движется; либо где-то успешно работал какой-нибудь редкий фермер, и если у него после двадцати лет труда все было еще как-то неплохо, то за забором снова — знакомый развал и нищета; а то еще кое-где пытался выжить, например, лично губернаторский проект на бюджетные деньги, явно для показа к приезду высоких гостей.

За все это время я, как ни бился, не мог найти благополучный городок или деревню, которая бы за счет сил своих жителей выбралась из бездны разрухи, наладила хозяйство и, уверено смотря вперед, жила своим развитием.

Все эти два месяца, когда я заговаривал о таком месте, мои коллеги из местечковых газет обреченно махали руками, и я совсем уже было свыкся с мыслью, что вернусь в редакцию с массой материала, где не будет самого главного и интересного, уже представлял себе смиренно-разочарованный взгляд начальства, которое ни в чем не упрекнет и ничего не напишет, но все поймет. Вдруг в одном райцентре, на краю карты одной из далеких областей, по виду в годах и, кажется, вволю пьющий редактор слабенькой местечковой газетки, показано прихрамывая и специально корявя слова, посоветовал мне преодолеть еще четыре десятка километров бездорожья в глубь полей, и посетить не то городок, не то большое село со странным

* Наш постоянный автор, лауреат всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова за 2010 год в жанре прозы.

названием Небосвод.

— Черт знает что это такое,— с важностью объяснял он, размешивая сахар в мутном стакане чая, сидя на противно скрипящем стуле у заваленного бумагами и обрезками газет стола.— Ничего про этот Небосвод не ясно. Народ бред про какие-то чудеса несет — глупость страшная, конечно. Мы там редко бываем, своих дураков хватает, но все же факты: во-первых, непонятно почему люди толпой бросили пить, хотя у нас, казалось бы, делать больше нечего,— тут он махнул в сторону окна, натянуто вздохнул, сделал глоток и поморщился.— А во-вторых, чуть ли не сами по себе, как народ там болтает, стали подниматься у них хозяйства, урожаи, говорят, хорошие пошли, и то самое «сельскохозяйственное развитие», о котором ты мне добрых полчаса окопесицу несешь, вроде бы как стало оживать. Раньше же как: гнали ее, родимую, из чего только можно. Из-за этого связь-то у нас с Небосводом и оборвалась. Пить там стало не с кем, народ пошел чудной или дурной — в общем, не наш какой-то... Ну и плюнули наши на этот Небосвод — гори он ясным огнем. Только вот ясно-сти, по правде, от этого не прибавилось. Так что ты съезди, что ли.

— А откуда такое название странное — «Небосвод»? — спросил я.

— Да черт его разберет! Раньше, поговаривали, старики знали, а сейчас...— он снова поморщился, отхлебнул чая, похрустел шеей.— Ты там Женьку найди. Сокурсник мой по «педагогическому». В смысле, звать Евгений Павлович его. Директором школы там, в Небосводе. На месте всегда — от такого хозяйства никуда не денешься, да и ребятишки у них там что-то пошли — один за другим... Он, может, расскажет чего.

Честно говоря, я за эти месяцы такого напомаженного блеска на чистокровном гнилье насмотрелся, что ехать сначала и не хотел. Опять, думаю, какой-нибудь миллионер в бегах поместье себе прикупил — не верил я уже в сельское благополучие. Но оказалось, что ехать-то мне больше некуда, только возвращаться разве что, а внутри остался осадок чего-то незавершенного, недоделанного, и без проверки последнего слуха возвращаться было еще противнее, чем смотреть на вычурный лоск статьи.

В общем, на следующее утро я поехал. Думаю, доберусь до школы, поговорю с директором, огляжусь маленько — и обратно. Всего день — и надоедливая совесть отбелена. Чудно, конечно, было вспоминать отзывы редактора, а еще чуднее — видеть начавшиеся с какого-то момента пути ухоженные поля и сносные по местным меркам дороги. Усмехнувшись, я проехал мимо дорожного указателя «Небосвод» у въезда в село, и скептически ухмылялся при виде дряхлых, но облагороженных домов, глядя на неумело опиленные аллеи и старую, но свежевывкрашенную школу, невдалеке от которой пылила посреди жилого квартала нелепо смотрящаяся стройка.

У входа в школу я столкнулся с человеком средних лет в непривычно белой для села сорочке, с самоваром под мышкой, громко и весело что-то знакомое напевающим, и как-то сразу догадался, что это и есть директор. Мы представились друг другу. Евгений Павлович куда-то торопился и все время за что-то извинялся.

— Вы уж простите, спешу я очень. Если вдруг вы свободны, пойдемте вместе. У нас сегодня праздник — дочка внука мне родила рано утром, все никак из города дозвониться не могли.

— Понимаю, конечно, лучше в следующий раз,— обрадовался я.

— Да подождите, когда ж еще у нас будете! А вы, извините, к нам по какому вопросу, или просто? Я может, могу чем помочь?

Продолжив идти по узенькой улочке вместе с директором, я кратко рассказал, чем занимаюсь и почему здесь. Евгений Павлович на слова мои как-то странно, но добро засмеялся:

— Да ничего у нас особенного. Люди как люди, живут себе и живут. Никому не

мешают...

— Но, говорят, в последние годы в поселке наметились явные успехи...

— Как вам сказать. Ну, вот... видите стройку? — мы как раз проходили мимо горы строительных лесов, по которым муравьями ползала бригада рабочих.

— Только хотел спросить... Странно все это здесь как-то видеть.

Евгений Павлович, до этого торопясь, вдруг остановился, улыбающееся лицо в миг стало серьезным, и по взгляду я сразу понял, что он подбирает нужные слова.

— Мы строим храм,— тихо, внимательно смотря на меня, сказал он.— Всем селом строим... Представляете — три поколения людей в Небосводе не слышали колокольного звона! Не видели, как кресты на солнце горят.

Я, признаться, оторопел от таких пояснений и вгляделся получше в директора.

— Да, строим все вместе и по очереди,— продолжал он.— На общенародные деньги, как раньше. С прошлой недели в Небосводе не осталось семьи, которая не сделала бы свой вклад в строительство. По-товарищески, общими усилиями... А впрочем, пойдемте,— и он снова увлек меня за собой, торопливо пытаясь о чем-то рассказать.— Вы, извините, если хотите, пойдемте ко мне. У меня сегодня гостей много, благостное событие. Будет много интересных людей, кого-нибудь о чем и спросите...

После таких слов я стал пристальнее поглядывать по сторонам, пока мы шли к дому директора, и был немало удивлен: даже в тех местах, куда я до этого приезжал, и где было все с виду красиво, искусственность благополучия была заметна в пустых улицах с редкими алкоголиками, в ломанных скамейках и отсутствию уличных урн, и было непонятно, кем и как создавалась и поддерживалась вся эта внешняя накрашенность. Здесь же улочки и среди бела дня были заполнены самыми разными людьми.

— Удивительно, Евгений Павлович, в Небосводе очень живые улицы. Я такого кроме больших городов нигде не встречал...

— Раз вы приехали из райцентра и журналист, вам, наверное, рассказали, что у нас мало пьющих. Они еще остались, но теперь это единицы из большинства, а не наоборот, как еще недавно.

— Сразу видно, вы — педагог. Хорошо и точно говорите.

— Я еще преподаю историю и сам же историю изучаю. А этот предмет, знаете ли, думать заставляет.

Тут мы подошли к небольшому, но ухоженному дому, не формой и цветом покраски похожего на другие, а внимательным отношением к нему владельца. Когда оказались внутри, Евгений Павлович сразу бросился к телефону.

— Алло! — услышал я его крики в трубку.— Позовите к телефону Марию Евгеньевну! Мне сказали, сейчас можно, перерыв в кормлении...— наступила натянутая пауза. В коридоре вся стена была увешана фотографиями и мне сразу бросилась в глаза одна интересная особенность: здесь были только или старые снимки двадцати-, тридцатилетней давности, на которых директор угадывался в высоком парне с красивой девушкой под руку, или совсем свежие, где Евгений Павлович то на каких-то стройках, то в школе с учениками. Многолетний период будто выпал из фотографической летописи семьи.

На кухне гремела посуда, и слышался мирный говор женских голосов. Из зала выглядывал сервированный стол.

— Алло! — снова закричал в трубку Евгений Павлович.— Машенька! Здравствуй, девочка! Ну, как ты там? Мне не соврали, внук? Вот так-то! Мы, Маш, скоро приедем... Тебя и выписывают скоро?... Ну, вот и как раз.. Сейчас мамку позову... Таня! Иди скорее! — крикнул он в кухню. Оттуда сразу выбежала маленькая бойкая женщина, но трубку директор сразу не отдал.— Маша, а ты скажи... Точно?... Ну и прекрасно, малыш! — Евгений Павлович отдал трубку жене и, взмахнув руками, ки-

нулся ко мне.— Голубоглазый! Ей богу, голубоглазый! И русский! — он затащил меня на кухню, где суетились у плиты и стола еще две женщины.— Настасья Андреевна, Вера Трофимовна! Представляете, голубоглазый! И русский!

— И, слава богу, Евгений Павлович, — оторвалась от салатов та, что постарше.— Уж у кого еще как не у вас! Мы вот с Настей по-другому и не думали...

— Ну, уж, Вера Трофимовна, вы даете! — снова взмахнул руками Евгений Павлович.— Не думали! А я-то, я-то! Все боялся, как же, думаю, если не так. Должно так! И вот, посмотрите! Вот радость-то! — повернулся он ко мне и выбежал на улицу.

— Евгений Павлович, простите, а какая разница, голубоглазый или нет? Ну, не был бы голубоглазый, и что?..— спросил я, выйдя вслед за директором.

— Как так не был бы голубоглазый?! — резко повернулся он.— Нет уж...— директор осекся, строго посмотрел на меня, потом, будто от какой-то мысли очнулся и тихо, по-хозяйски, улыбнулся, будто зная какой-то секрет и обдумывая, как лучше мне о нем сказать.— Это для меня, извините, очень важно. Другому кому хоть кареглазого, хоть желтоглазого подавай, и пожалуйста. А мне голубоглазый внук нужен. Эй, ребята! — крикнул он ехавшим невдалеке на велосипедах мальчишкам.— Максим! Саша! Помните уговор? Давайте, по всем своим, и чтобы у меня к двум были!

— Да они уж знают! — ответил старший из них, темно-рыжий мальчуган.

— А вы все равно, еще раз! И всех обойдите, чтобы были! — и ребята, на удивление и не думая послушаться, рванули на велосипедах по улице.

— Главное, гостей не забыть, — с улыбкой до ушей повернулся Евгений Павлович ко мне.

На крыльцо с полотенцем в руках вышла жена директора.

— Ну что, Танюш, поговорила? Дождались мы с тобой...— с удивительной легкостью он подскочил к жене, поцеловал ее и обнял.— Сколько у нас получается гостей, десятка два уже? Стульев не хватает? А все ведь свои... Ничего, я сейчас по соседям быстренько...

Евгений Павлович сказал, что если я хочу посмотреть на село, то надо остаться, потому как теперь к обеду будут главные лица Небосвода.

— Видите ли, — сказал он, — все, вроде, налаживается: и в школе, и дома все слава богу, вот и внук первый, а помощников нажить себе не сложилось. Только зять вот в городе, закупается к встрече Маши. Сколько лет прошло, — продолжал он, когда мы заходили в ближайший дом, — и ничего от них не осталось. Семью только каким-то чудом сохранил...

Первый сосед, Николай Васильевич, оказался крепким мужиком, с глубоко посаженными глазами на морщинистом лице, в толстой рубахе и больших ботинках, известный в Небосводе пчеловод, с крупнейшей в округе пасекой. Наперед стульев он протянул нам банку меда:

— Поддай-ка, Палыч, к столу. Мед хороший, как старики говорили. А я ближе к осени с пасеки свежего еще привезу.

Дом Николая Васильевича вызвал во мне интерес. Создавалось впечатление, что когда-то запущенный и забытый, дом этот стали восстанавливать в самом лучшем виде, с искренним уважением к этим стенам. Старые стены были свежевыкрашены, прогнивший забор и порог у дома недавно заменены и белели свежими досками. Во дворе шел ремонт, будто разделяя дом надвое. Старая часть раздражала еще оставшейся гниющей корявостью и только недавно отмытым долголетним запустением. Другая часть радовала всем, под корень, новым и надежным, и было видно, что здесь мало что выправляли, а по возможности меняли заново. Пока мы ждали ушедшего в комнаты за стульями хозяина, я спросил о нем Евгения Павловича.

— А это не только у него. Это у нас теперь чуть ли не повсюду дворы и дома так поделены — у кого в большей, у кого в меньшей степени.

Вынеся нам полдюжины крепких стульев, Николай Васильевич тут же получил безотказное приглашение к обеду, и, вдруг засмущавшись — очень для меня неожиданно, — согласился.

Евгения Павловича это смущение очень развеселило, и пока мы относили первую партию стульев и шли ко второму двору, он разговорился:

— Вот Васильевич чуть было краской не пошел, а как я его понимаю, и все убеждаюсь, что надо к людям чаще ходить, с людьми говорить. Все мы потом стеснялись друг к другу ходить. Вроде как неудобно, и незачем. Сначала, не поверите, страшно было. Одиночество удивительное. Всех знаешь, со всеми рядом, а говорить не о чем, будто ничего не стало. В глаза друг другу смотреть зазорно. Тут работа спасала. Труд, как говорится, объединяет, а за общим делом всегда договориться легче. И чем больше времени проходило, все легче и легче становилось. Вот уже и общим народом собираться стали... Правда, редко еще.

— А почему же все-таки бросили пить? Как я вижу, все в один какой-то момент?

Директор задумался, будто подбирая слова, и даже хотел что-то ответить, но тут мы подошли ко второму двору, и он сказал:

— Просто посмотрите на это. Сергей — «последний из могикан», даст бог. Не все и не сразу. Строить оно — не разрушать.

Второй двор из-за плотного и высокого, но старого и местами гнилого забора с улицы мало чем отличался от остальных, но когда мы вошли, то показалось, будто перенеслись с сытой сельской улицы куда-то в нищенский колхозный двор.

Вокруг убогость и заброшенность. Все заросло гнильем и дряхлостью. Никакого намека к делению на «старое» и «новое». Казалось, сам ход жизни когда-то, в один момент, оборвался в этом доме или замер, и все вокруг медленно, без движения, растворялось во времени.

Дверь была нараспашку. В грязных комнатах мы нашли заросшего этой же грязью человека. Он лежал на рваном диване и так сливался с серой мерзкой обстановкой, до которой гадко было и просто коснуться, что я не сразу его заметил. Выглядел он стариком, но потом Евгений Павлович рассказал, что старше его на четыре года. От рождения звали соседа Сергеем Вячеславовичем Орловым, но уже много лет называли просто Серегой, а чаще окриком, считали за пропащего, и старались без острой надобности о нем не вспоминать.

Как только мы вошли, Евгений Павлович поздоровался. Лежащий на диване несколько секунд не двигался, а потом чуть приподнялся и посмотрел на нас стеклянными глазами. С брезгливым любопытством я рассматривал новое и так мне знакомое «отгулявшее» лицо, не выражающее никакой мысли и никакого чувства.

Алкоголик что-то замычал в ответ на наши приветствия, даже присел, и чуть погодя закрыл заплывшие глаза, согнулся и обхватил голову руками.

— Нам стулья нужны, — бесстрастно продолжил директор. — У тебя от тетки остались в чулане? Я возьму несколько.

Реакции не последовало. По знаку руки Евгения Павловича мы прошли в другой конец дома, где в заваленном барахлом темном и сыром чулане, между куч рваных тряпок, я с удивлением увидел несколько старинных добротных стульев, правда, насквозь прокуренных и чем-то замызганных.

— Ничего, ототрем. Бери, — улыбнулся Евгений Павлович.

Нагруженные, мы вернулись в комнату.

— Знаешь, Сергей, у меня внук сегодня родился, — Евгений Павлович сделал паузу, будто ожидая какой-то реакции в ответ, а когда так и не дождался, наклонился вперед и громко и четко, с какой-то досадой прокричал:

— Слышишь, Сергей, у Маши сын родился!

Сосед отлепил руки от лица, каменным и пустым взглядом снова посмотрел на

нас, но ничего так и не сказал, и мы ушли.

— Вот что делает с человеком водка, нагруженная горем,— сказал Евгений Павлович, когда мы возвращались к нему домой.— Но главное — водка. Горе сразу бы убило, а если выдержал, то — как хочешь, но отойди. На иное права не имеешь,— в его голосе зазвучали и горькие и горделивые нотки.— С водкой хуже. С водкой, предательски похожей на воду, хуже. Она воли лишает. И если скатишься, подняться труднее в сто раз будет. А ведь когда-то первый коммерсант был на весь Небосвод. Еще при Советах начинал, в плотницкой артели. Стулья-то, видишь какие! Добра столько было, не успел еще все пропить.

— У него что-то случилось?

— У всех нас что-то случилось... А у него сын погиб в тюрьме.

— За что сидел? — по привычке спросил я.

Директор оглянулся на меня и с тяжестью ответил:

— Покушение на убийство,— и, немного пройдя, сказал.— Ладно уж, праздник сегодня, не будем. Не каждый день у человека внуки рождаются!

Мы прошли в дом, где уже ждал гостей окончательно сервированный стол. В коридоре я увидел старуху, всю в черном. Евгений Павлович обрадовался ей как родной, называя не иначе как «Аннушкой». Татьяна Михайловна, подруга семьи, уважительно прошептала мне, что это первая монахиня в строящемся храме. Но когда я подошел представиться, та на меня никак не отреагировала, будто не замечая, отчего я сделал вывод, что старушка немного не в себе. Легкая улыбка ни разу не покинула ее скомканного временем морщинистого лица, на протяжении всего застолья она мирно скребла вилкой по тарелке и никому не мешала.

Потом появились другие гости. Одним из первых вошел Федор Леонидович, высокий статный человек в годах, но без каких-либо намеков на проседь в густой шевелюре, с широкой, аккуратно постриженной черной бородой. Оказалось, что он мне больше всего и нужен, потому как был крупным аграрием в Небосводе, лучше остальных разбирался в торговле, и я сел рядом с ним, расспрашивая, как идут дела. Словоохотливостью фермер не отличался, но рассказывал, что несколько лет назад, когда хозяйства в Небосводе начали подниматься с колен, урожаи стали как по заказу: обильные и плодоносные. Вскоре к этому неожиданно добавилось забытое трудолюбие селян, и на фоне всей региональной отрасли за несколько лет хозяйства Небосвода шагнули вперед, заделав даже кое-какой капитал, позволяющий теперь и в неудачные годы держаться самодостаточно. Сам же Федор Леонидович поставил себе целью построить целый семейный бизнес, и теперь сыновья его были первыми помощниками на ферме, а внуки получали хорошее аграрное образование в столице.

Следом за Аннушкой и агрономом публика потекла еще разношерстней: появился единственный в Небосводе банкир Соловьев; торговцы и предприниматели — Климов, Нилов и Корнеев; еще один фермер Конев — птицевод, но, соответствуя фамилии, собирающий капитал на коневодство; Крюков, массово и увлеченно растящий картофель, и Капустин, занимающийся, правда, совсем не капустой, а разводящий по окрестным холмистым просторам плодовые сады морозостойких сортов. После пришел с тяжелой медовой рамкой знакомый сосед-пчеловод Николай Васильевич. За ним, как и положено для интеллигенции более пунктуально, стали собираться: Сергей Григорьевич Мухин, единственный на весь Небосвод доктор; директор библиотеки Тюнина Мария Сергеевна и Виктор Александрович Грачев, директор в прошлом году вновь открывшегося музея краеведения.

Интересно и удивительно было смотреть на них со стороны. Фермеры пришли по одиночке, интеллигенты, по должности, с супругами. Все дружно приветствовали хозяев дома, поздравляя с внуком, кто-то что-то приносил, и частью мужчин покурив

во дворе, рассаживались за столом. Большой радостью было мне попасть в круг, где люди были приветливы друг с другом, но я наблюдал и некоторые странности. Иногда в атмосфере взаимоуважения и благополучия виделась какая-то хорошо скрытая неловкость, будто все вместе хотели попросить друг у друга прощения, но не решались, думая, что это не нужно, что и так всем все ясно, но неуверенность в отношении к себе других, особенно поначалу, угадывалась точно, после утихая по мере длительности застольных разговоров. Для меня это было удивительно. Передо мной сидели люди в большинстве своем за пятьдесят лет, у многих уже внуки в школу собирались идти, и было странно видеть в них эту, похожую на юношескую, неловкость, которая, правда, ничуть не портила общения и даже неприметно скрашивала праздничную картину званого обеда. Из всех собравшихся, вероятно, легче всего было мне, потому как я никого не знал, и с удовольствием со всеми знакомился, пытаюсь с каждым гостем перекинуться хотя бы парой фраз.

Водки на столе не было. Только пиво и вино — купленное и свойское. Первый тост поднимали за новорожденного, и тогда торговец мебелью Климов спросил:

— Дед, а как внука назовете?

Евгений Павлович, привстав, задумался, почесывая седеющую щетину.

— Это дело, конечно, молодых, сами пусть выбирают. Но мы с Татьяной, как о мальчишке заговаривали, никак кроме Вани и не думали.

— Да уж, развелось на селе Иванов,— проскрипел недалеко сидящий директор музея Грачев.— Путать скоро начнем.

— Ну что ж, Виктор Александрович, раз так уж получается. Все ведь счастья хотят чуточку для своих и для себя,— заметил, разливая пиво, агроном Федор Леонидович.

— А что, Ивановы в Небосводе счастливее остальных? — продолжал недоумевать я, поочередно с голодного утра пробуя хозяйские блюда.

— Да, кстати, забыл совсем, это наш столичный гость! — приятно улыбнулся Конев.

— Я из Подмосковья,— весело отозвался я.

— Приехал в Небосвод, услышав про наши успехи в земледелии,— добавил Евгений Павлович, кивнув в сторону агрономов.

— Вы знаете,— посчитал нужным подняться я,— это так сначала было. Но потом я увидел, что сельское хозяйство восстанавливается у вас на волне общего подъема. И, если честно, сколько вас ни слушаю, не могу понять почему. В вас много необычного — непьющее население, какие-то голубоглазые малыши, счастливые Ивановы...

— Выпьем за журналистов! — раздался тост садовода Капустина.

— Да подожди же ты! — оборвал его Федор Леонидович и обратился ко мне.— Странного в Небосводе может показаться и правда немало. Вам, небось, в райцентре про нас наболтали всякого?

— Больше догадки. Но, говорят, связь с вами теряют...

— Это правда. Но больше по собственной дурости,— сказал директор музея Грачев.

— Оскотинившийся народец!

— До дураков пока достучишься...

— Ну, хватит вам! Сами на себя-то давно смотрели! — прикрикнул на говорливых Федор Леонидович.— А вы что, про нас написать хотите? — пылливо обратился он ко мне.

— Вот уже месяца два я езжу по всем центральным областям, ищу примеры возрождения провинции, села, России если хотите... Так, чтобы сам народ, без вмешательства со стороны и понуканий понял свое положение и задумался. Чтобы, как это

ни наивно, понимаю, звучит, Отечество наше само пыталось подняться.

— Ишь, чего захотел. Чтоб само...— пробурчал где-то рядом пивовар Корнеев.

— На все воля божья...

— Без вмешательств у нас не получается...

— А что же,— среди мужчин послышался голос супруги директора, Татьяны Николаевны,— если такое бы случилось, вы напишите и вся Россия прочитает?

— Ну, вся не вся,— стесненно уточнял я,— из столичных властей кое-кто, у чиновников в областях я наш журнал как-то видел, да и в интернете есть всегда...

— Интернет мы знаем,— бордо высказался банкир Соловьев,— скоро у всех будет!

— Значит, на всю страну? — переспросил Грачев.

— Женя, Витя... ребята... Надо рассказать! — перейдя вдруг на громкий шепот, с каким-то страхом в голосе, но напористо проговорила Татьяна Николаевна.— При всех рассказать!

Над столом повисла тишина. Я ничего не понимал. Евгений Павлович посмотрел на жену, а потом повернулся ко мне:

— Это, ведь, поверьте, только домыслы все наши, предположения. Такое в журнале печатать нельзя.

— Ничего себе, домыслы! Ванька-то твой родился бы что ли сегодня? — вдруг взяла слово директор библиотеки Мария Сергеевна.— И Таня права — все надо рассказать! Пора уже! А то все поверили молчком, жизнь даже налаживаться стала... Сама по себе что ли? Люди — как ожили. А с тех пор, как в районе пальцами показывать стали, высмеяли по своей пьяной глупости нас, так до сих пор по углам все и шепчемся. Лет-то сколько прошло? Вы что же, думаете, он случайно к нам пришел, а больше нигде не появился? Разве ж это на всех сил хватит? Вот он нас в пример другим и образумил. У нас каждый это про себя знает,— и обратилась ко мне.— Чего греха таить, про себя скажу. Сама я жила... да как все жила!

— Жили страшно — в водке будто крестились,— тихо проговорил Виктор Александрович. Все снова затихли.

— Эх, Ванюша мой,— вдруг среди общего молчания пробормотала Аннушка, про которую уже и забыли все.

Тут гости разом подняли головы, стали о чем-то ворохом переговариваться и засмеялись.

— Святое дело, Евгений Павлович, говори,— сконфуженно улыбаясь, сказал Сергей Павлович.— По твоему празднику у тебя в доме собрались. Ты журналиста первым встретил, тебе и говорить. И за Ивана своего.

Директор посмотрел на сказавшего это врача, а затем снова на меня.

— Да вижу, что надо. Меня это не последнего коснулось. Мы, правда, с Виктором Александровичем и Федором Леонидовичем об этом немало говорили, и прошу их помочь, если попутаясь где, и уточнить, кто про что знает лучше.

— Давайте только сначала еще выпьем за вашего внука! А потом все послушаем, да все расскажем,— сказал сосед-пчеловод Николай Васильевич.

— Правильно! Правильно! — закричали со всех сторон. Всем еще раз было нали-то, и гости, шумно произнося тост, выпили.

Я достал диктофон, а Евгений Павлович обратился ко всем:

— Сразу хочу у вас всех попросить прощения. Живу я в Небосводе сколько себя помню, за исключением нескольких лет института и армии, и знаю, в общем, все и обо всех. А рассказ наш таков, что про многих из вас немало сказать придется. С другой стороны, гражданин журналист, как я понимаю, долго у нас не задержится, и если писать о селе будет, имена ваши, уверен, изменит, а остальные здесь про всех

знают не хуже меня. Так что опасности нет.

Он сделал паузу, и в зале повисла напряженная тишина. Я будто кожей чувствовал эту безмолвную натянутость. Но вдруг лица, одно за другим, просветлели, воздух стал свободнее, и Евгений Павлович, кивнув, заговорил дальше:

— Начну, пожалуй, вот с чего. Не мне вам рассказывать об упадке провинции. Это всенародная беда, и как мы знаем, исправлять ее, кроме самого народа некому — все властные реформы будто растворяются на русских просторах. Вы видели нищету городков нашей области, и трудно поверить, но еще дюжину лет назад Небосвод был самым убогим местечком во всей округе. Грязь, рвань, ничтожность царили на этих улочках и в людях. И ни единый человек этого не замечал — люди одинаково менялись — к звероподобию. За несколько десятков лет до этого были, конечно, попытки что-то возродить, но такие разрозненные и слабые, что разруха легко пожирала эти искры разума, а люди, в которых эти искры рождались, чаще всего исчезали из поселка или пропадали. Когда-то по чужой воле надорвавшись, теперь люди разрушались. Мы об этом с директором музея много говорили и решили, что началось все еще с наших отцов и дедов в Гражданскую войну, когда революционные принципы: Свобода, Равенство и Братство были преданы создателями этой революции. А у всех на устах кровью было написано: террор. До этого тоже было не сладко, да еще как, но такого всенародного духовного хаоса, о каком рассказывал мой раскулаченный дед, видит бог, не было.

Мы здесь, конечно, в крайней хате, и много чего и сейчас не знаем, но храм в селе стоял всей губернии на загляденье, и в Небосводе сразу после пресловутого НЭПа куда-то пропали все священники, после сбрасывать кресты с куполов, жечь иконы грудями стали, пивную в храме устроили — это как колхозы появились. Бабку с моим отцом, как дед в Сибирь был выслан, здесь в колхозе оставили, и отец потом мне рассказывал — тогда было самое страшное даже не то, что православную веру осквернили, а то, что все селяне вышли тогда из домов и молча, замерев со страху, смотрели как горели иконы... Одним словом — веру предали.

— Да уж, понаделали делов... — выдохнул Сергей Григорьевич, и еще хотел что-то сказать, но на него зашикали, и он замолчал.

— Ну а потом... что потом... Кроме соломенных хат у селян не осталось ничего, водка с пивом заменила молитвы. Последние, кто помнил еще Святое Писание, сгинули в 30-е и на войне — в поселок не вернулся каждый третий. А сам Небосвод еще зимой 41-го пожег немец. Я не знаю, как тогда выжил народ. Но он выжил. Со временем даже сил немного набрался. Я, правда, не знаю, тот ли это был уже народ...

— Что это ты такое говоришь?.. — залепетала Татьяна Николаевна.

— Да кто знает... Ладно, мы решили говорить об одних фактах... А разруха... Она же не вчера случилась, и даже не в перестройку. Народ у нас все эти годы пил как сволочь. Просто, мне кажется, как-то человек перестал понимать и что пьет, а главное — что вообще делает.

— Женя, — очнулся со своего места Виктор Александрович, — про Аннушку расскажи.

— Да. Мне еще раз придется познакомить вас с нашей Аннушкой, — обратился Евгений Павлович ко мне. — Про стариков говорить плохо не принято, но история, как говорят, не терпит сослагательного наклонения, и в нашем случае нельзя все называть чужими именами — ложь о прошлом губительна как ничто другое. Так вот, — посмотрел он еще раз на старушку и заговорил уже для всех. — Кроме того, что Аннушка у нас первая на селе монахиня, когда-то она стала и первой в Небосводе проституткой. Мне мало известно о других, но этот случай стал общей трагедией, и потому все мы об этом знаем. Может, ты, Виктор, скажешь, она все-таки твоя соседка, и знаешь ты все лучше меня.

Директор музея оглядел всех с очень серьезным, натянутым видом:

— Я тогда только с институтского распределения вернулся, с севера. Археологический музей здесь открывал. Приезжаю, а отец — царство ему небесное — и говорит: «Соседка наша, Анька, совсем спилась вконец». Был у Анны тогда муж — алкоголик форменный. Тогда еще один из немногих. После свадьбы, и как сын у них родился, он еще держался, а потом сорвался в конец. От тоски и лени, отец говорил. Ну, в общем, она его сначала образумить пыталась, терпела, потом ссорилась с ним, раз, два, и пошло-поехало: склоки, драки, недельные загулы. Но главное — мальчик. Я-то его не очень знал. А к отцу моему, как родители в угаре разойдутся, он часто прятаться прибегал. Было от чего — отец-алкоголик его пару раз так отколошматил, думали, в город в больницу везти. А мать смотрела, пила и молчала. Черт знает что, но вот... бывает. От нашей Аннушки у нее тогда ничего не было. Продолжалось это пока малышу, а звали его Ванькой, не исполнилось лет семь. Мать моя говорила, что очень хороший был мальчик, с простым русским лицом, большими голубыми глазами, и немного кудрявыми волосами. Добрый очень, слабый, и не по годам смысленный. Так, вот. Был у них еще сосед Семен — тракторист. Сволочь редкая, сколько жил — всем всегда гадил, и управы на него не было. Жил один, лютый как зверь, но механик, говорят, со способностями, а потому часто его просили сделать что-нибудь, и водочка у него водилась. И вот, сам я видел, стала Анна к нему чуть ли не каждый день за бутылкой бегать. То поесть за водку отнесет, то денег каких. А он-то на нее глаз положил, момента ждал и сам все чаще к ним заходил, выпивали, значит, вместе.

Что в тот день произошло — точно никто не скажет, не один десяток лет прошел. Но верно, отец мальчика спьяну надрался и отключился, а Анна с Семеном сидели, пили. Потом водка, как думаем, закончилась, и Семен, пообещав принести еще, утащил Анну в спальню... За бутылку она под него легла. А под кроватью, тут же, от страха трясая маленький Ваня.

Наутро мальчик пропал. Просто как в воду канул — и все... Сколько проспавшиеся родители его ни искали, сколько всей деревней ни бегали, ни допытывались — так ничего и не нашли. И раньше в Небосводе всякое случалось, но чтобы вот так пропал мальчик, и никаких следов... Отчетливо помню, как на несколько дней просветлел Небосвод в движении поиска. Но все было напрасно, люди смирились и затихли.

А через неделю у Анны случилась трагедия. Она с горя все рассказала мужу, тот, пьяный, пошел и зарубил Семена топором, а сам, очухавшись, повесился в сарае. Аннушка наша тут совсем помешалась рассудком, потому только, наверное, руки на себя и не наложила. Возили ее лечить даже, но скоро вернули обратно — толку нет, что средства на нее тратить, да и тихая она стала, хозяйственная, и никогда с тех пор не пила.

— Ладно,— оглянулся Виктор Александрович,— теперь пусть Федор Леонидович расскажет про «колхозных». Он их всех лучше знает. С ними тогда же примерно началось?

До этого внимательно слушавший фермер Федор Леонидович отпил воды из стакана и, прекословя, принял эстафету рассказа.

— Могу сказать про себя и своих колхозников. Про трагедию Аннушки мы все слышали, но знали эту семью мало, только Семена жалко — какой бы ни был, но механик хороший. Мы, колхозники, были тогда сердцем Небосвода. На нас держалось все, и мы все держали в своих руках. Какая-никакая, но сила. В райцентр на драки ездили, бывало, девок отбивать.

А началось все с Сашки, и вы правы — в тот же год, кажется. Пришел он с армии, чудаковатый какой-то — говорили и в какой-то «точке» немного побыл. А Светка его в район замуж выскочила. Ну, он недельку погулял, и к ней какого-то чер-

та подался. Пришел пьяный, с мужем побрехался, и вот возьми сдуру Сашка нож и в бок его. Все живы остались, а Сашку в тюрьму. Ничего, думали, посидит и вернется. А через пару месяцев телеграмма — умер в тюрьме... и схоронили. За ним следом Витька Прохоров, ты, Слава, знал его,— обратился он к Кирову,— в армии на севере где-то застрелился. А с чего, так и не поняли. Ребята все наши, жалко было. Начали выпивать по случаю. А случаев хватало... В одной драке с «районными» Егорка, «весенний» кличка была, получил заточкой в живот — в свалке так и не узнали от кого. Дня три в больнице провалялся и отошел... Мать, помню, на похоронах страшно убивалась. А следующим летом еще пуще...

Главное — пить начали, как нигде... Один спьяну в реку на тракторе угодил, и сам утонул, и машину утопил. Другой, Женька Кирсанов, после гульки на быка с топором пошел, тот ему ни одного ребра целого не оставил. Помню, доходил когда, страшно мучился. «Что же это ребята?» — все спрашивал. В июле еще один, во ржи уснув, под косилку угодил. А Васька Смирнов, что на него наехал — спился потом совсем. И так вот что ни месяц — хоронили кого-то из своих. То случай, глупый какой-то, то пришибет кого, а кто сам — и все по глупости... И все нелепо как-то, не по-людски... Отцы на войне за победу под пулями погибали, а эти ...

А потом еще несколько лет сплошных неурожаев, застой, безденежье. Тут-то все, кто порезвее, рванули из Небосвода в город, как ошпаренные. Большинство так и не вернулось никогда. А те, кто навевываются изредка,— хуже иностранцев. Стало хозяйство пропадать. Да и люди — пили и пропадали. Я сам не помню, как несколько лет пролетело — очнешься чуть, поищашись до зарплаты — и в загул. Слышали мы, что не единственные такие, что по всей области — то же, да и в стране. Все по бумаге есть, все везде работает, но ничего не выходит. К тому времени давно уж слухи ходили, что мы даже зерно за границей покупаем... А через несколько лет начала меняться власть. Кто-то где-то там устроил какие-то реформы, и мы особо не знаем, как все прошло, только у нас, следом за людьми, рухнуло и все хозяйство. Что работало — перестало работать. Кто что мог — начал растаскивать. Не воровать — как везде,— а растаскивать, дико растаскивать... Народ совсем дуреть стал. А когда еще заговорили, что все что раньше было — было «не так», и все кто как жил — жили неправильно, и власть преступна, и народ угнетен, а строй наш советский — ошибка истории — так тут уж совсем все перемешалось, одни кинулись по разные стороны, куда кто мог, другие просто спиваться стали. У нас в колхозе тогда спроси: «В какой стране живешь?» — так можно было и в морду получить. И не дай бог кому начнешь рассказывать, как все было плохо и неправильно, а где-то «за бугром» хорошо и сладко...— Федор Леонидович угрюмо замолчал, обводя всех грустными глазами.— Мужики! Не знаю, что со всеми нами было бы. Знаю только, что прошло в каком-то затмении еще несколько лет. Уже и своих резать стали, никакого порядка не знали, власть презирали, смеялись над нею, и не признавали, кажется, ни бога, ни черта...— он снова замолчал и посмотрел на Евгения Павловича.— Ну а про Ивана ты сам рассказывай, раз уж начал.

— Когда народ в Небосводе дошел до ручки,— вернул себе слово директор,— я тоже пил, случалось — матерился в школе, бывало и бил учеников, потерял семью... Светконец, в общем, какой-то. Повсюду тоже, говорят, горько было, но такого, как у нас в Небосводе, нигде не видел. Думать разучились, говорить разучились, друг друга не признавали. Семьи все стали распадаться, дети перестали рождаться... Думали: все уж, наверное, да и рукой махнули — ничего не жалко было: ни России, ни народа... А однажды я... да нет, все мы увидели в селе Ивана. Когда это было? — обратился он к гостям.

— Третьего, утром,— тихо подсказала Марина Сергеевна.

— Да, третьего. Как потом рассказывали, каждый впервые видел Ивана в разных

местах Небосвода, но ни один не мог пройти мимо и не заметить его. Понимаете?

— Не очень,— честно признался я.

— Попробуйте представить. Вот иду я, грязный, рано утром, после вчерашней пьянки, к Корнееву — опохмелиться. Он тогда тоже пил — будь здоров, да и запас был у него всегда. До этого дождь несколько дней шел не переставая, улицы — как ручьи. А тут свежесть такая с утра, ясный теплый день, голубое небо, все цветет и благоухает. И вдруг смотрю — стоит на обочине кусок тряпья. Думал, очередной спившийся бродяга, да странный какой-то. Было в нем что-то такое. Поворачивается ко мне, и вижу: весь заросший, волосы — грязно-русые такие — как грива, борода с проседью — охапкой сена, одет будто в какую-то шкуру, как в шубу. Сам босой, в руках палка во весь рост, а сверху поперек деревяшка привязана — как крестиком. Повернулся он ко мне и вдруг чистым таким голосом говорит: «Здравствуйте, Евгений Павлович. Замечательное утро сегодня». А я иду, ничего не соображаю — голова раскалывается, никого не надо. Так бы мимо, наверное, и прошел, если б он меня по имени-отчеству не назвал. Давно меня так не называли. Остановился я, посмотрел на него. С виду — старик и старик, только держится прямо и твердо. И глаза... не поверите — голубые, голубые, аж горят на заросшем лице, и молодые такие совсем, как у вас.

— Здравствуйте,— мямлю в ответ и чувствую, будто как полегчало. Я потом это вспомнил, а тогда заговорил от удивления.— Мы с вами знакомы? — а он мне:

— Куда же вы, Евгений Павлович, в такую рань спешите?

Я хотел было что-то сказать, да не знаю как. И соврать не получается. Стыдно признаться, и соврать стыдно. Стою я, значит, и молчу. А он продолжает:

— Зря вы торопитесь... Утро-то, какое! Красота! Хорошо у вас здесь! Как и положено в Небосводе.

Огляделся я по сторонам, и не понимаю, о чем он говорит. Улица наша как улица, битый асфальт и грязь. Покорежившиеся облупленные дома и косые черные столбы.

— Вы,— не зная, что сказать, спрашиваю,— не местный?

— Почему? — удивился он.

— Ну,— говорю,— для местных здесь уже все привычно и скучно.

— Как же,— удивленно отвечает он,— вам может быть скучно, если вы здесь живете?

Я растерялся, а он и говорит — тихо так, но четко и, как сказать... внушительно, что ли:

— Вы здесь живете, здесь ваш дом, близкие вам люди, земля под ногами и небо над головой... Посмотрите, какое небо!

Я от неожиданности вскинул голову, а небо в то утро и прямо было на загляденье — свежее и бесконечно голубое.

— Как же вам в таком месте может быть скучно? — снова спрашивает он.

— Не знаю,— говорю, смущаясь.— Привыкли, наверное.

— А здесь что? — сказал он, оглядываясь, и будто не зная, куда попал.

— Как что? Все как всегда...— отвечаю.

— Странно,— говорит он, глядя на меня изучающим взглядом.

— Да? — говорю я, и понимаю тут, что чепуху несусь и вообще все это какой-то бред, но чувствую — голова вроде как болеть перестала, расслабление внутри вдруг появилось, и хорошо вроде как.

— Может быть, вы просто не замечаете разницы?

— Чего? — никак не понимаю я.

— Как дни меняются.

Ну, ничего себе, думаю, приехали! Вот что значит с волосатыми бродягами с похмелья по утрам разговаривать...

— Ладно,— говорю ему,— пора мне, дела... Идти, в смысле, надо.

Смотрит он на меня прямо-прямо так своими жутко голубыми глазами, улыбается вроде как. И знаете, проснулось во мне что-то такое, будто очнулось.

— Всего вам доброго, Евгений Павлович,— вдруг говорит он мне.— Не спешите только сильно, и берегите дочку.

Я еще больше удивился: откуда он про Машу знает? И чудно мне и хорошо одновременно. А он стоит, смотрит на меня без отрыва, и, чувствую, улыбается под бородой.

Добрался я до дома, к Маше зашел и долго смотрел, как она спит. Помню, вдруг поразился — какое ангельское лицо у нее во сне. Ей тогда семнадцать было. Старик этот не выходил у меня из головы весь день, и тогда мне еще чуднее стало, да так, что и капли в рот я не взял, и когда Николай Васильевич, помните, сосед-пчеловод, а тогда забулдыга страшный — предложил, я вдруг, себя не узнавая, отказался. А следующим утром пошел в школу...

— Погоди, Евгений Павлович, дай другим рассказать,— вставил Федор Леонидович.

— Так это мы неделю говорить будем,— откликнулся врач Сергей Григорьевич.

— И то, правда...— послышалось со всех сторон.

— Давайте я только про себя скажу. Очень уж дивно,— Федор Леонидович повернулся ко мне и все согласно закивали.

— В то утро я был в еще худшем состоянии, чем наш дорогой директор. Колхоз окончательно развалился, поля в округе заросли бурьяном, и лучшего занятия, чем пить, никто из нас придумать не мог. Всю ночь я гулял с какими-то девками, но пришел под утро домой. Что-то уронил в прихожей, разбудил детей. Нина начала кричать, схватилась как обычно за скалку и выгнала меня за ворота. Дохлебав остатки из шкалика, я преспокойно улегся под забором. Очнулся от света яркого солнца в глаза. Вижу — лежу, где и лег, а рядом, у дороги сидит какой-то волосатый старик в лохмотьях и пирамидку из камушков на земле складывает. Оборванный такой, до жути. Ну, думаю, наш колхозный брат. Только чую, не несет от него ни водкой, ни прокисшим гнильем, как от бомжей. И тут, не оборачиваясь, старик мне говорит: «Утро доброе, Федор Леонидович!» Я не понял сначала ничего. Ничего себе, думаю, «доброе» — голова раскалывается страшно, тошнит — чуть не выворачивает. А старик, знай себе, сидит на обочине, с камушками играет — то собирает их, то разбрасывает. И спрашивает:

— А что у вас урожая нет который год?

Голова болит страшно, а он, собака, еще и за живое... Назло, что ли, наверное, отвечаю:

— А черт его знает! — и лежу себе дальше, вставать никак не хочется. А он мне снова:

— А что-то у вас дети на селе не рождаются?

Что же ты, сволочь, думаю, заладил! И откуда знаешь — смотрю, вроде, не местный. А он камушки на камушки все кладет, да так стройно, что и не падают они, и все выше и выше стопка получается.

— А что-то уезжают все, кто может из села? — дальше спрашивает волосатый, а по мне уж и мурашки бегают. Ну, думаю, сейчас встану и отдубасю старика за такие вопросы. А сам смотрю на камушки, что друг на друге непонятно как лежат высотой уже в локоть, и говорю первое, что в голову приходит:

— Так ведь и урожая нет, и дети не рождаются — вот и уезжают...

Тут старик вдруг берет свою длинную палку, кверху крестом, и как ударит по башенке — камни во все стороны так и разлетелись. Поворачивается он ко мне и го-

ворит:

— А зачем им родиться?

— Ну как же,— ничего не соображая, говорю я,— жизнь у нас такая. А он мне:

— А зачем тебе урожай? Зачем тебе дети, если ты тут валяешься?

Лежу я под забором, журюсь на солнце, ничего не понимаю, смотрю только — день хороший такой, травка вокруг зеленая, сочная. Кусты и деревья вокруг сильные и красивые. Небо — светлое и высокое.

— Что же вы себя забросили в конец? — бросил старик обвиняющее, и пошел дальше.

А я лежу, и встать не могу, и крикнуть хочу — не получается, и только рукой машу вяло ему что-то. Тут глупая мысль такая — как же, думаю, хорошо, что у меня руки есть. Ведь я ими всю жизнь на земле проработал, семью обеспечивал. Но вдруг стало мне тогда, знаете, горько так... Очень горько. И не выходил у меня старик из головы ни на миг. Пошел я тогда в поле, недалеко от дома, стою среди бурьяна и думаю, зачем мне, и правда, урожай, и зачем люди в Небосводе, раз мы землю бросили? Жить-то оно, известно, всем хочется. Ну, а все-таки, зачем? — закончил Федор Леонидович.

— Да что там говорить,— улыбаясь, с торжественным видом поднялся директор музея.— Все мы задавали себе этот вопрос после встречи со стариком.

— За день он обошел все село,— добавил банкир Соловьев.— Я запомнил эту встречу на всю жизнь. И то отвращение, когда этот якобы старик весь в лохмотьях зашел в банк, и то свое онемение, когда увидел его глаза, и ту тупость мысли, когда он спросил, зачем я столько времени провожу с деньгами, и зачем мне денег все больше и больше, когда узнаешь, что тебе их хватает. Я, конечно, так и не ответил ему ничего, но каждый день, приходя утром на работу, а вечером — домой, задаю эти вопросы себе, и не могу перестать не задавать... Они будто сами всплывают в голове.

— А меня он спросил, кто самый близкий друг человека,— перебил его Конев.— Я сидел у ворот за верстаком, выделывал шкурки кроликов,— у нас тогда мор был — когда на стопке готовых шкурок увидел его руку. Пытался отшутиться насчет собаки, потом сказал, что, наверное, лошади. А он тогда спросил, кто же лучший друг лошади. Я сказал, что другая лошадь. Тогда старик спрашивает: если у лошади лучший друг — лошадь, то почему же у человека лучший друг собака?.. А кто? — бормочу я. Помню, он с какой-то расстроенной досадой посмотрел на меня, отвернулся и произнес: «Две тысячи лет прошло!» — и представляете, двинул своей палкой мне по лбу. Все вам скажут, что кролики в селе тогдадохнуть перестали. Но я иногда все думаю: что же он хотел сказать?

— Да, все мы тогда что-то упустили,— вздохнул Николай Васильевич.— Ивана когда встретили — сразу не поняли... и как много потеряли! А теперь гадай!

— Извините,— не выдержал я,— откуда же он все-таки появился?

— Мы толком не знаем,— ответил Евгений Павлович.— Два или три человека его об этом спрашивали, а старик махал рукой куда-то в сторону, как потом выяснилось, все время по разным направлениям.

— И что же, за тот день он встретился со всеми жителями Небосвода? — не унимался я.

— Ну, не со всеми, конечно, но коснулось это потом каждого,— посмотрел на меня директор.— Здесь сегодня почти все, кто с Иваном тогда разговаривал. Мы вам тут порассказать, конечно, можем, да вы, понятное дело, не поверите. Никто еще не поверил. Только те, кто с ним встречался.

Я не стал разубеждать их, а подумав, спросил:

— А у кого он был в тот день последним?

— Ко мне он забрел к вечеру,— откликнулась, будто дождавшись момента, директор библиотеки Марина Сергеевна.— Прямо в читальный зал и зашел. Мы как его уви-

дели, так и опешили. Представляете, в читальный зал прямо в лохмотьях, с дубиной...

— Не с дубиной, а с посохом! — поправил ее Капустин.

— Подожди ты... — улыбнулась Марина Сергеевна. — И прогнать не знаю как, стою, смотрю на него, как дура. А он мне: «Меня, Марина Сергеевна, гнать не полагается. Где это видано, что б из общественных библиотек божьих людей гнали»? Ничего я не ответила, а старик начал на полках копать. Посох в сторону отложил, возьмет книгу в руки, подержит просто, или на случайной странице откроет, и на полку поставит. Прошелся так по стеллажам и спрашивает у меня: «И что же, все это читают»? Ну, говорю, да. Каждый что-то читает. Покачал он головой, к разделу «философии» подошел, открыл «историю религии» — ее к нам тогда только из области завезли — и говорит: «Что же вы тут понаписали?» Да что вы, отвечаю, господь с вами, ничего я там не писала. «Ну, не я же, в самом деле, это придумал?» — с расстройством возмутился он, да так серьезно, что я совсем потерялась и чуть ли не спросила, а не он ли и правда это написал. Тут уже библиотеку закрывать пора, а он все с книгами возится. Я давай его выпроваживать, а старик вдруг обернется ко мне и как глянёт, будто сквозь меня, и говорит: «Мне, Марина Сергеевна, идти некуда. Вы заприте меня, я здесь и заночую. Утром придете, я и уйду. И ни за что не беспокойтесь, говорит. Где это видано, чтобы божьи люди обманывали»? Так вот я, сама не своя, не знаю почему — взяла и, ничего такого отродясь от себя не ожидая, закрыла его там. И дома, представляете, своим ничего не сказала! До этого и сестре родной из читального зала на руки книги не выдавала. Будто останавливало что-то, боялась я будто чего. А тут... Так он в библиотеке и заночевал.

Утром я пораньше в библиотеку прибежала, а сатрик вышел из хранилища, как ни в чем не бывало, и одно только сказал, по сторонам поглядывая: «А ведь, и правда, все это неудивительно».

— Вы знаете, еще надо два слова сказать про ту первую ночь, — поднялся Евгений Павлович. — Я тогда чуть ли не первый раз за пару лет трезвый домой ночевать пришел и проснулся посреди ночи от непривычной тишины. У нас-то ведь как всегда было: всю ночь кто-то орет пьяные песни, где-то гремит музыка, соседи скандалят, автомобили гоняют с визгом и сигналами. Шум, гам. Хаос, короче. А тут вдруг встаю посреди ночи — и тишина. Но тишина не мертвая — чего можно было ожидать — а как будто тишина успокоившейся бури. Тишина, которая могла бы быть и криком, но сама решила остаться тишиной.

— Позвольте, я закончу, — обратился он к остальным, — это важно. Утром следующего дня я первый раз за много месяцев нормально поговорил с семьей, а потом пошел в школу. У ворот вижу такую картину: человек тридцать детей, от первоклашек до средних классов, всюю бегают и играют вокруг нашего старика. Он стоит в своих лохмотьях, смотрит на них, иногда что-нибудь скажет, и снова стоит и молчит. А дети, не поверите, не пинают друг друга и не дерутся, не хватают и не пугают девочек, а просто... как вам сказать... просто что-то делают, играют, веселятся, шутят, разговаривают... Дети его как-то сразу поняли и увидели кто он. Стою я у школы, смотрю на это чудо и глазам своим не верю. Я-то думал, если они этого лохматого встретят — заплюют или битыми кирпичами забросают — удивляться нечего, в небосводе к тому времени благополучных семей почти не осталось. А тут будто старик с ними в одной компании. Потом он увидел меня и поднял вверх свой посох. И я увидел, что над толпой ребятишек торчит маленький деревянный крест. Махнул старик рукой, и все дети разом кинулись в школу, а сам он побрел дальше. И хотя я его в тот день больше не видел — дел в школе по горло — чувствовал, как в тот момент от него прямо по воздуху движение какое-то шло, сила что ли какая...

Тогда мы и узнали, как его зовут. Я на уроке спрашиваю у ребят, кто с вами у ворот был? А они мне хором — дед Иван, дед Иван...

— Вы знаете, дальше чуть было не приключилась беда,— сказал врач Сергей Григорьевич.— Вы заметили, что в Небосводе нет ни одного милиционера, ни военного? Ну, военных у нас и не было, а вот милиции раньше повсюду больше, чем... учителей, например. Преступность аховая, бандитизм первосортный. Ну, конечно, правоохранители у нас главными над бандитами сразу встали, подати сами в открытую собирали. Чувствовали себя царями. А тут новый, очень странный, а значит и очень подозрительный человек, с приходом которого в Небосводе вдруг начало что-то меняться. Иван тогда как раз находился у закрытого детского сада — его под торговлю лет несколько как отдали. Стоит, значит, и смотрит на всех, кто входит на базар и обратно выходит.

Подъехали к нему четверо в форме, обступили со всех сторон и, как видно, что-то спрашивают — регистрацию, мол. Так точно и неизвестно, что он им сказал,— все они очень скоро молчком из Небосвода уехали с поспешностью, похожей на бегство. А еще через месяца три-четыре правоохранительная система в селе просто-напросто развалилась сама по себе. Работы у них становилось все меньше, и скоро единственные пьющие люди стали милиционеры. И начали мы их потихоньку выдавливать, а начальство в райцентре видит, что не то что-то происходит, откопало какой-то норматив в дебрях какого-то кодекса, и теперь на весь Небосвод один участковый, да и тот все больше огородничает и в школе «безопасность жизнедеятельности» преподает.

— Просто поразительно,— я вздохнул, уже ничему не удивляясь.— Если честно, то абсолютно не верится. Если б вы мне это вот так скопом и так дружно это все не рассказывали, никогда б не поверил, а каждого, кто заикнется — отправлял бы в психушку.

— Вы знаете, а ведь, наверное, тогда-то начались... э-э... предсказания,— обратился не ко мне, а ко всем Федор Леонидович.

— Какие еще предсказания? — оторопел я.

— Да как вам сказать...— покосившись на меня, сконфузился агроном.— Я даже не знаю, как правильно выразиться... предсказания, не предсказания... предупреждения, может? Да и это как-то не так. Пророчества — как-то очень по-библейски. Хотя, если честно, так это в целом и было. Ведь что-то же он милиции сказал, что они его не тронули, и сами как уколотые потом ходили. А потом Иван в детский сад к торговцам зашел. Корнеев, Климов, расскажите вы.

— Ну что ж,— поднялся со своего места торговец Корнеев.— Скажу как знаю. Сейчас торговля в Небосводе отличается от любого другого села или поселка. А тогда, как и везде: свора нас, торгашей, брань, воровство, обвешивание и обмеривание, как только это может быть. Ну, так вот. Сидим мы, значит, пиво пьем, и заходит тут вдруг этот ворох шкур, на ногах тряпки, с палкой в руках, глянул на нас и спрашивает, чего мы здесь все делаем? Мы ему: «Как чего, дед, не видишь что ли, базар». А он какую-то чепуху в ответ: «Будете друг у друга воровать, говорит, станете обезьянами, как сами придумали». Мы, значит, обалдели, а потом давай хохотать. И кричим ему: «Где ты это, дед, такое видел, откуда взял?» А он, на прилавок глядя: — «Да вот вычитал недавно в библиотеке вашей. Там написано — дескать, были обезьяны, а стали люди. Я-то,— говорит старик,— пошутить тоже люблю, но в этой же книге написано, что это — основа науки людей, которой дети в школах обучаются». «А что,— со смехом говорим,— мы это тоже проходили». «То-то,— отвечает старик,— вы, как обезьяны, здесь и сидите». Ну мы ему, конечно: — «Ты дед говори, говори да не заговаривайся, а то мы на твои седые космы не посмотрим, шею-то намнем». И он: «Это-то вы запросто, я уж не сомневаюсь»,— говорит. Тут наши совсем озлобились, под пивом еще, и смотрю, сейчас они ему навалят. Да и я порядком разозлился. Только вижу, стоит старик, на нас смотрит неотрывно — и не двинутся наши с места. Да и у самого меня мысли какие-то дикие, голос будто неизвестный в голове черт

знает что несет, а вся сила из рук и из ног куда-то делась, и ни шевельнутся, ни слова вымолвить не могу. Тогда старик, как сейчас помню, говорит нам громко: «Запомните, не будет вам радости здесь, не для того этот дом построен. Не будет вам радости от денег ваших, от лжи и обмана вашего. И, даст бог, поймете вы, что творите со своими жизнями и образумитесь. Помните, говорит, Ивана, который позора вашего не выдержал».

Сказал он это, значит, развернулся и вышел. А мы все еще долго вот так, не шелохнувшись, сидели, не зная, что творится с нами, и что это такое было. Вот, в общем, и все. А через пару лет детский сад уже по назначению работал, многие из торговли ушли, а мы, кто остался, работаем на загляденье. Не магазины-конфетки, конечно, но цены ниже, чем везде.

— Ничего не понимаю,— пробормотал я.

— Все так говорят, кому расскажешь,— засмеялся Виктор Александрович.— Потому в серьез и не воспринимают. А кто с ним еще-то встречался? — обратился он к столу.— Ты что ль, Капустин?

— Известно я. Как раз из магазина шел. Хлеба взял,— ответил садовод.— Яблони сохнуть начали, одна за другой. Колхозники перепились, в рабочие никого не возьмешь. Да и сам я, того, случилось... Выхожу, короче, из магазина, а старик сидит на крыльце и палкой перед собой по воздуху водит. День тогда выдался ясный и ветреный. И вижу я, что кончик посоха точно также двигается, как ворох листьев на дороге перед ним танцует на ветру — то по кругу, то чуть в сторону, то вверх приподнимется, то обратно по земле стелется. И так точно кончик посоха этому движению вторит, что не ясно, повторяет ли движения старик за листьями или сам ветром листья шевелит... Ну, это, конечно, все догадки мои. Я уже тогда наслушался про старика всякого. Прохожу мимо, и вид делаю, что ничего не замечаю. А он мне вдруг и говорит:

— Спасибо за угощенье, Петр Васильевич.

Повернулся к нему и вижу — в руке у него яблоко большое, спелое. Старик от него раз — и откусывает, а на меня не смотрит.

— За какое еще угощенье? — а сам думаю, откуда у него яблоко? У нас в мае еще все в цвету померзло, а покупных не помню когда завозили.

— Вы были очень добры к детям,— говорит мне тогда старик.— Кормили нас яблоками просто так, чтобы мы по садам не лазили.

— Мы что, знакомы? — замер я.

— Конечно,— сказал старик, удивительно легко поднялся и посмотрел на меня. Про его глаза я уже слышал, а тут сам увидел, как на заросшем лице они будто горят, как в кино.— Вы,— говорит он,— хороший человек, сердечный, зла никому не делали. А деревья просто так не сохнут. Скажите своим — пусть бросают пить, и займитесь садами. Не жалейте для дела ни сил, ни здоровья, защищайте дерево. В этом году урожая не будет. Но если найдете в себе силы продержаться до следующего сезона — все образуется. Люди могут меняться. Только они должны этого захотеть. И яблони оживут, если вы будете о них заботиться. Сажайте новые сорта, заботьтесь о старых, и все получится...

Дальше я, правда, как-то все плохо помню. Очнулся дома, ну, думаю, дела. Выпить сразу решил. А как налил, опрокинул, вдруг такое ужасное отвращение к водке почувствовал, что тут же меня вырвало.

За столом наступила тишина. Каждый думал о своем, но мне казалось, что мысли их витали вокруг чего-то общего. Я был поражен. Передо мной сидела дюжина взрослых, самостоятельных людей, которые с самым серьезным видом, с неподдельной верой в свои слова и слова других, рассказывали мне про чудеса, подходящие скорее для откровения какого-нибудь там Евангелия, народных сказок или сума-

шедших бредней. Во всем этом я сомневался, доверяя лишь тому, что видел и о чем твердо знаю, но и не поверить в то, о чем говорили люди, правдивость которых была налицо, я не мог.

После Капустина снова заговорил директор школы.

— В тот день, как потом мы узнали, произошло много таких странных встреч и непонятых разговоров. Я могу привести вам немало интересных и непонятных фраз старика Ивана. С этого момента жизнь всего нашего населения, кем бы кто ни был и в каком бы состоянии не находился, сильно переменялась, изменив и жизнь Небосвода. На языке вертится запавшая в душу одна фраза, которую Иван сказал кому-то из нас: «Как цвет небес зависит от ангелов, что там живут, так и город зависит от людей, которые его населяют». Казалось бы, как просто! Но как точно!

В истории появления в селе Ивана многое уже просматривалось, хотя мало что было понятно, о еще большем люди догадывались, но сказать боялись — не пришло, наверное, еще время обо всем говорить вслух. К вечеру второго дня вокруг старика собралась добрая половина протрезвевшего села. Был там и я. Иван пришел ровно на то место, где мы на месте старой церкви строим храм. Старик сам принес дров и разжег костер. Все разместились вокруг. Его тогда уже никто ни о чем не спрашивал, а он ничего не говорил, только смотрел на всех по очереди, переводя взгляд с одного лица на другое. Тогда я понял, о чем не додумался утром, увидев с ним детей. Иван притягивал к себе людей, и мне кажется, ему от этого было очень тяжело. Но он не мог отказать. Думаю, поэтому он пробыл в Небосводе всего три дня. Уже вечером вторых суток, по разговорам, он казался сильно уставшим, но пришедших его присутствие рядом меньше воодушевлять не перестало.

Люди у костра со временем стали будто оживать, выделяясь из немой толпы. Кто-то стал рассказывать удивительные истории из прошлой жизни. Кто-то вспоминал старые анекдоты. Дети развеселились. А самые древние наши старики как по команде уселись рядом с Иваном, смотрели на огонь и молчали.

Потом Иван встал и как-то незаметно для всех ушел, как потом оказалось, устроившись на ночлег к нашей Аннушке. Была бы наша монахиня в сознании, могла бы чего рассказать. А так только от соседей знаем, что свет у нее горел до самой поздней ночи, а на следующий день видели ее всю заплаканную. Одета во все черное, она ходила по селу, крестилась и громко вслух молилась. Я так думаю, что впервые тогда, за много десятков лет, жители Небосвода услышали слова молитвы.

Говорят, в ту ночь впервые проститутки Небосвода остались без работы, а ночные ларьки без прибыли. Но... как это сказать... еще было невероятно много грязи и мерзости. Свет еще только начал пробиваться. Годами врожденную заразу, как ввевшегося паразита, выбить с насиженного места было нелегко, тем более что сделать это могли только сами люди. Иван просто говорил с нами, очищал и направлял чувства и мысли.

Теперь я понимаю, как был нам нужен тот третий день, и когда смотрю на лица детей в школе, детей нового Небосвода, думаю, что не будь этого последнего дня, посеянное в наших душах со временем могло засохнуть, и все бы вернулось на свои черные круги. Но мы, видит Бог, спаслись. И спасло жителей Небосвода, как всегда, чудо,— облегченно вздохнул Евгений Павлович, и добавил: — Дальше я один обо всем не расскажу, помогайте.

Директор музея Виктор Александрович повернулся ко мне:

— Если разрешите, я возьму на себя смелость рассказать про утро третьего дня пребывания Ивана в Небосводе, хотя бы потому, что сам стал невольным участником тех событий.

— Давай, Виктор, давай, кому как не тебе,— затрепетали голоса со всех сторон.

— Пожалуйста, Виктор Алексеевич,— сказал я, меняя кассету моего старенького

диктофона.— Вас, как историка, особенно интересно послушать.

— Спасибо за доверие. Сначала вы должны понять: — да, вечером второго дня пребывания Ивана в Небосводе поселок «на глазах у изумленной публики» начал преобразаться. Но, поверьте, это был лишь первый шаг из всего пути, что нам предстояло пройти, и тогда все только начиналось. Кем бы ни был Иван, нельзя оскотинившуюся массу в одночасье превратить в людей. А надо плюнуть на все и признать — мы были именно в таком состоянии. Поняли это только много позже. Это легко было видно по выражению лица. И вы себе не представляете, люди с какими глазами и физиономиями тогда ходили по улицам Небосвода.

Я тоже пьянствовал регулярно — недели как две тогда уже в запое, успешно пропивал зарплату и единственное, до чего не опустился (и чем, сволочь, гордился!) — не пропил пока ничего из музея. Вечером второго дня я, как и Евгений Павлович, был у костра со всеми. А глубоко ночью вместе с остальным народом побрел домой, дохлебывать горькую. Утром, помню, не спалось, и я вышел рано на улицу. Думаю, пойду-ка у Аннушки рассольничка попрошу — от меня до нее пара дворов. И вот подхожу я к ее дому, за большую голову держась, и вдруг вижу — трое у забора дубинами кого-то забивают. А сама Аннушка на земле рядом сидит и неслышно плачет. Я к ней сначала дернулся, а потом глянь — а под дубинами у этих троих лохмотья какие-то торчат. Ну, понимаю тут я, что забивают они Ивана, который у Аннушки нашей ночевал. Как я это увидел, так и онемел — стою как вкопанный. Гляжу дураком и понять не могу, что происходит и делать что не знаю. Только вдруг мысль такая четкая, что нельзя мне стоять, смотреть как убивают человека, и не вмешиваться. Что всему тогда конец, и всем нам конец, если мимо пройду. А ведь мы так привыкли к подобным картинам! Не то что чужаков — соседи друг друга лупят как хотят, родня за бутылку режет кровную родню. Никто в Небосводе на это внимания давно не обращает... И вот понимаю я, что забьют его сейчас, и тогда — все.

Смотрю, на земле посох его деревянный лежит. Схватил я его, подбежал сзади к бандитам и одного по затылку с размаху ударил. Тот замер, повернулся ко мне, удивленно так посмотрел, будто совсем не ожидал, и вдруг завалился в траву как запертво. Тут я как заору со всей силы, и второго, что тоже обернулся, по голове посохом со всего маху — и тот также разом обмяк, и на дорогу мешком рухнул. Иван на земле лежит не шевелится, а третий на своих посмотрел, не растерялся и как с размаху засветит мне дубиной!.. Я без чувств рядом с Иваном свалился, и помню только, как этот третий снова огляделся, закричал что-то, и бросился бежать. А Аннушка смотрит на нас страшными такими глазами и слезы без единого звука по лицу у нее льются.

Сколько я без сознания пролежал, не помню, но, думаю, недолго. А когда глаза открыл, гляжу — сидит рядом на дороге Иван, смотрит заботливо, держит мою руку, и чувствую, как боль вся, все беспомощность с меня сходят.

— Спасибо вам,— говорит мне Иван просто, будто не его здесь только что до смерти забивали.— Вы спаслись — вот чудо! — обратился он к кому-то, и я увидел, что вокруг нас десятка два человек стоят и меня разглядывают. А рядом те двое, которых я ударил, так и лежат, и понимаю, что больше не встанут.— Вы не вините себя за этих,— говорит мне Иван.— Люди крестом и святое добро и адское зло делать научились,— сказал тихо Иван, отпустил мою руку и я почувствовал, что абсолютно здоров, но совершенно без сил.

Понимать ничего я не мог, оставалось только удивляться.

— У этих двух,— указывая на лежащих бандитов, обратился Иван к собравшимся,— с сердцем плохо вдруг стало. Приступ — это любая ваша экспертиза подтвердит. Нельзя же так со злом в сердце людей убивать. Сердце-то и не выдержать может...

Тут мы встали, Иван пожелал мне ни о чем не волноваться и пошел дальше, а я

все то на него глядел, то на погибших, которых отволакивали куда-то в сторону. Рядом Аннушка стояла, смотрела на Ивана, и все плакала, но уже счастливыми, как мне показалось, слезами.

— Но, кто же это такие были? — спросил я. — Кто же это мог сделать?

— Ну, молодой человек! — Виктор Алексеевич налил себе еще чаю. — Только на моей памяти столько прекрасного изнасиловали, и спроси меня, как и зачем — не найду, что вам ответить. Мерзавцев в России всегда хватало, и последнее время — с избытком... Ну, на этом я заканчиваю, больше я Ивана не видел. Это, как мы тут между собой считаем, было первое чудо этого дня. Поняли мы его или нет — не знаю. Но так оно все и было. Соседи мне только потом рассказывали, как третий, который убежал, Колька Смирнов, что повесился через неделю, в тот день бегал по улицам, кричал что-то нечленораздельное и в нашу сторону махал. А когда все собрались, Иван уже, как ни в чем не бывало, сидел на земле и приводил меня в чувство. Что до этого было — только Аннушка знает, но она, известно, с того дня ни слова не сказала... Ну, кто может рассказать гостю, что дальше было?

— Извините, можно мне несколько слов? — поднялся невысокий мужчина с другого конца стола и мне тут же подсказали, что это — Сергей Григорьевич Мухин, местный врач. — Я постараюсь недолго, — поправился он и, сделав паузу, посмотрел на меня. — Вот мы тут говорим «чудо», «пророчество», а ведь никто нам этих слов не говорил. Я не к тому, что чудес не бывает — по-другому этого и не назовешь, чудеса и в медицине встречаются. Я к тому, что все мы, кое-что как-то вдруг осознав по поводу происходящего, только потом поняли, как важно все, что случилось в каждой минуте, что Иван был в селе.

Я с тех пор пить бросил и медицинским спиртом из-под полы торговать перестал — насмотрелся в тот, третий день, это уж точно. Но во многих людях, с кем Иван имел какие-то контакты, произошли такие поразительные перемены, что это уже требовало от меня и попытки медицинского объяснения. Я говорил со многими, спрашивал, что они чувствовали, когда он был рядом? что в них происходило, когда он говорил? Но в том-то и беда, что с моей медицинско-научной точки зрения никогда объяснить это я не мог. Наука наличие души в человеке не доказала, но ведь никто не скажет, что ее нет! Мне тогда на язык попали такие религиозные выражения, как «нирвана», «духовное или благотворное воодушевление», но не могу же я так в документе написать! Могу только подтвердить — в том, что касается тела человека, не изменилось ничего. А как обыватель Небосвода могу сказать вот что. В людях тогда начало что-то меняться. И до сих пор меняется... А что до того, что после избияния Ивана происходило с ним... говорят по-разному, но примерно часа два он, как и до этого, просто бродил по улицам и снова пытался говорить с людьми. Это мы сейчас уверены, что с людьми надо говорить. А тогда... Ведь даже то, что некоторые увидели свое реальное положение до прихода Ивана, вселило в людей еще больший упадок. А выход у нас из этого известно какой... Еще рассказывали мне, что подходил Иван к группе наших заядлых алкоголиков и что-то пытался им говорить... Но, как известно, у кого голова водкой залита, тот и ангелов не услышит, а от Ивана или просто уходили, не слушая, а чаще — пьяно орали и чуть даже драться не лезли, но побаивались. Иногда хуже — сядет такая скотинка напротив, тупым взглядом, как бетонная стена, смотрит прямо, глазами моргает и ржет гадко над всем, что ему скажешь... И вы понимаете — ничего не сделаешь! Такую морду хочется ударить, в грязь втоптать. Но Иван, понятно, делать этого не мог, и уходил что-то сам себе говоря. Походит, походит, и к другому такому же... Это они потом все пить бросили или повымерли все под бутылкой. А тогда и не скажешь, что на них его слова хоть как-то действовали, и я не представляю, что с ним самим творилось при виде невоз-

возможности людей измениться. Мне только... кто... а, Капустин, Петр Васильевич рассказывал, что когда увидел Ивана, пытающегося заговорить с одной местной нашей алкоголичкой-проституткой, а время тогда к полудню третьего дня шло, — жутко усталый у него вид был и даже, потом говорили, вроде как глаза голубые его, которым все только удивлялись, будто бы даже посерели.

А потом снова была наша старая площадь, где как раз мой облупленный медпункт находился, рядом с обломками фундамента старой церкви. Где-то в обеденное время Иван пришел сюда, и я сам видел, как посреди развалин он встал на колени, сложил вместе руки, посмотрел вверх и стал вроде как молиться. И никогда бы никто не узнал, что он там такое сказал, и не подошел тогда к нему никто — боялись даже когда на площадь группами сходить стали — если бы не мальчишки наши местные — сегоднешний молодой банкир Владимир Соловьев и предприниматель Слава Киров, не притащили бы туда магнитофон, не спрятались за соседней к Ивану наполовину обвалившейся стеной, и с горем пополам кое-как не сделали бы запись его голоса. Зачем они это сделали, как потом говорили, и сами не знают — просто, говорят, захотелось очень, и вдруг поняли, как надо придумать. Хотя, я думаю, это тоже, наверное, неслучайно. Но главное — кое-что у них получилось... Евгений Павлович, пожалуйста.

— Да уж понял, сделаем, — отозвался директор, доставая из глубины стола самую обычную аудиокассету. Он вставил ее в небольшой старый магнитофон, и я услышал глухой, хрипящий, чуть отдаленный голос.

— Благодарю Тебя за все, Господи! Спасибо за это испытание, за муки мои, за помощь Твою! Спасибо, что не покидал меня столько лет. Спасибо за этих людей. За уснувших, за слепых, за глухих. Знаешь Ты — не ведают они, что творят! Слова Твоего не слышат, света Твоего не видят. Не верят в имя Твое. И дай мне силы, Господи, нести дальше слово Твое. А сейчас дай им сил поверить, что придет Свет! Дай мне знать, когда придет время! Я буду готов! А сейчас дай им силы услышать голос мой в пустыне этой. Пусть верят они в слово Твое. А мне дай сил нести дальше Крест мой...

Запись прервалась и над столом, в который раз, повисла напряженная тишина.

— Это лишь малая часть того, что сказал старик. Тут моим ребятам или надоело слушать непонятные слова, или спугнул их кто, но это все, что у нас осталось от Ивана, — сказал Сергей Григорьевич, замерев, глядя перед собой. — Дальше все было в таком же духе. Иван молился где-то с час, и за это время вокруг собралась толпа. Мы, конечно, пришли посмотреть на него из простого любопытства. Ничто святое нами не двигало. Кто с бодуна пришел, кто так, от нечего делать, наслушавшись историй про сумасшедшего старика. В Бога, к тому времени в Небосводе, если еще кто и верил, то только дряхлые старухи — из тех, у кого иконы по углам при Советах висели. Из нас-то, конечно, никто никакой молитвы не знал.

А когда Иван закончил, такое произошло. Вдруг, как говорится, откуда ни возьмись, хлынул сильнейший дождь. Без грома, без ветра. Закапал, и все больше и больше, пока не стал хорошим таким ливнем. Тогда Иван встал, обернулся к нам, поднял свою палку и давай ей толпу на площади крестить.

Сергей Григорьевич как-то странно посмотрел на меня, по очереди медленно обвел взглядом всех сидящих за столом и продолжил:

— И пошел Иван себе дальше. Подходил к каждому дому на своем пути и будто крестил дом. А мы стояли под дождем, и слова никто никакого сказать не мог.

Врач снова замолчал, о чем-то задумавшись, будто не умел произнести несколько предложений зараз, и собравшись с силами, посмотрел на меня.

— Я не знаю, поверили люди или нет. Но они изменились. К лучшему. Меняются и поныне. Вы сами, наверное, заметили. Небосвод оживает, и только сейчас мы начинаем понимать, что тогда село чуть было не погибло. И каждый день я смотрю на небо и прошу, чтобы те времена никогда больше повторились, а люди оставались

людьми.

В тот день дальше вот что было. Буквально минут через десять, как Иван ушел с площади, и все мы еще не пришли в себя, вдруг слышим — бежит кто-то по улице и кричит страшно... Вы разрешите, Евгений Павлович,— вдруг обратился он к директору школы.

— Да, Сергей Григорьевич, вы уж сами, пожалуйста,— неожиданно вздохнул он.

— Так вот,— продолжил Сергей Григорьевич,— бежит к нам Крючков, нынче картофельный наш коммерсант, а тогда первый наркоман, и кричит, что зарезали кого-то. Подбежал он, кидается на всех, и из отрывков слов понимаем мы, что якобы Толик, недавно вернувшийся из тюрьмы сын Сергея, соседа нашего школьного директора, ударил ножом Машу, дочь Евгения Павловича, которая, как известно, вот только сегодня подарила ему внука, и за здоровье которого мы, даст Бог, еще выпьем. Ну, мы-то сначала решили, что точно — перекололся Крючков или ломка у него, снова денег сейчас попросит, но он так кричал на всех, что как мы все на площади стояли, так толпой сюда, к Евгению Павловичу, и пошли. Машу все знали — первая красавица на селе — хорошая такая. Приходим мы, а тут — все как Крючков говорил. Я как врач первый в дом кинулся. Зашел и вижу — лежит Маша с ножом в животе на лавке, кровью истекает. Рядом все домашние бегают, кто кричит. Кто рыдает, и никто не знает, что и делать. Я бы и рад помочь, да гляжу — руки после вчерашнего, да и утрешнего, так трясутся, что и лезвие вынуть побоялся. А в Небосводе больше ни одного врача. В райцентр позвонили, «скорую помощь» вызвали, да от него, сами знаете, ехать и ехать... Вот тут мне страшно стало. Умрет ведь, думаю, у меня на руках, и никто, вы понимаете, никто, сделать ничего не может! До чего дошли... Лежит она, а под лавкой лужа крови целая. Переполох по всему Небосводу, но все только кричат и ничего не делают. Тут мне совсем плохо стало, и я вышел во двор. И хорошо даже, думаю, что дождь. А следом за мной и все кто в доме был, вышли, не могли на Машу смотреть. Евгений Павлович только остался. Так еще минут пять прошло. Сижу под дождем скрючившись, лицо в ладонях, и слышу будто впереди на дороге кто-то по лужам шлепает. Глаза поднял — Иван в своих мокрых ломотьях во двор вошел — и в дом. Посмотрели мы ему вслед, переглянулись, ничего не поняли, но препятствовать никто не стал... Ну, дальше уж тебе слово, Евгений Павлович,— сказал Сергей Григорьевич директору.— Только ты там был. Мы не верили ему долго,— посмотрел он с улыбкой на меня,— но как увиденному не поверить? И поверили.

— Да что вам сказать...— поднялся с трудом хозяин дома.— Я-то кроме как чудом это по-другому никак назвать не могу. Сто раз уже рассказывал: сижу у нее, думаю, что кончилась вся моя жизнь. Единственная дочь, семнадцать лет... Ну, так сижу я, пошевелиться не могу, вдруг заходит Иван и ни слова не говоря, к Маше. Взял стул, сел рядом с лавкой и наклонился к ней. А ко мне сел спиной — точно не вижу, что он там делает. Я сначала от неожиданности застыл, а как очнулся, подошел к нему сзади, а он, не поворачиваясь, и говорит:

— Вы выйдете, если сможете. Мне не мешайте — все равно, сами знаете, никто вам не поможет.

Что надежды ни на кого нет, известно было мне. Но и с этим, бог знает с кем, бросить Машу я тоже не мог.

— Не выйду,— говорю.— Я ее одну не оставлю.

— Тогда садитесь, где сидели и никого не впускайте,— сказал он, за руку Машу взял и снова наклонился над ней.

Мне бы ему сказать: «Ты что, леший, делаешь?! Ну-ка отойди от моей дочери!» Но, чувствую, нельзя. Вернулся я к двери, сел, как дурак, на стул, поглядываю на него иногда сзади и на всех, кто потом пытался войти, машу руками. А Иван, как сел,

так и сидел, то наклонившись над местом, где была рана, то поднимая голову вверх и что-то бормоча себе под нос. С полчаса мы так просидели, пока он что-то блестящее на пол положил. Смотрю, а это тот самый нож — клинок на свету сверкает и ни одной капли крови на нем нет. Подбежать и посмотреть рвусь, а встать с места не могу. Тут, как кто-то говорит, мне — ни вставать и ни подходить! Я сначала внимание на это обращать не хотел, а потом на лицо Маши посмотрел, а она такая спокойная лежит, тихая. Думаю, вдруг потревожу ее, если подойду, и остался на месте. Иван все сидел и сидел, над ней склонившись, в полуобороте, шептал тихо что-то, и, как казалось, руку на ране держал.

Просидели мы так до самого вечера. «Скорая помощь» почему-то так и не приехала — мы потом только узнали, что сломалась в пути. Иван все сидел у Маши, а я у входа в комнату, и с места сдвинуться не мог. Потом он вдруг достал из-за пазухи кусок белого полотна, накрыл раненое место, встал и пошел из комнаты, мне знаком показывая с ним идти. Я уже ничего не понимал и делал, как он говорил. Вышли мы во двор, а там народу — половина Небосвода. И солнце уже село почти. Повернулся Иван ко мне:

— Спит она. До утра не тревожьте. Все будет хорошо.

Смотрю я на него и не по себе мне. Лицо у Ивана осунулось, посерело, глаза выцветшие стали, как у старика, сам он чуть не шатается, всего трясет, и будто еще больше поседел.

— Спасибо вам,— говорю. А сам как чувствую, произошло что-то.

Он ничего мне не ответил, пошел со двора и только у ворот остановился и долго-долго и внимательно смотрел на всех нас.

Потом повернулся и пошел по дороге на закат прочь из Небосвода. А мы всей толпой на улицу вывалились и смотрим ему вслед. Идет Иван так тяжело, на палку свою опирается. Идет себе и идет...

Евгений Павлович тяжело склонился над столом, потер лоб рукой, сказал еще что-то, будто про себя, и снова распрямился. Все смотрели на него и молчали.

— Вот, в общем, и вся история про Ивана. То, что чудо было, мы узнали утром, когда я зашел Маше, посмотреть, как она. Сергей Григорьевич полотно приподнял, и так, помню, и отшатнулся — на месте страшной раны остался лишь большой красный рубец. Маша, как сейчас помню, спит себе, и такая красивая во сне, что слов нет. Скоро она проснулась, как не бывало, и что удивительно — так ничего и не вспомнила, и поверила нашим рассказам, только когда сама шрам увидела.

Анатолий тот погиб в тюрьме в какой-то пьяной драке через два года. Отец его, Сергей, не старый еще совсем — вы видели, один из последних алкоголиков на селе. Аннушка наша, после ухода Ивана монахиней стала. Приезжал как-то тут какой-то... архимандрит, что ли... говорил, плохо очень, что нет в Небосводе церкви. Ну, теперь-то будет скоро, даст Бог. Да?..— посмотрел он на Аннушку.— Главное — люди с тех пор оживать понемногу стали. Множество потом удивительных случаев было, но выбор, так сказать, один: или человеком становись, или помирай. И ведь знаете — мы только начинаем, все еще впереди, мы только очнулись. Но люди, похоже, начали верить в будущее.

— Они поверили в чудо,— тихо произнесла Мария Сергеевна.— Ничто другое Небосвод бы не спасло.

— Так или иначе, но все стало меняться к лучшему. Все мы стали больше быть похожи на людей.

Мы вышли из дома — вечерело, и мне надо было ехать. У ворот стоял сосед Сергей, небритый и грязный, но довольно трезвый, в непонятно откуда взявшемся потертом сером костюмчике.

— Что же ты не заходишь, Сергей? — обратился к нему Евгений Павлович, когда мы подошли ближе.

— Да нет... как же это я, — пробормотал, потупившись, он.

Мы стояли и смотрели на пьяного соседа. Сергей немного подергался из стороны в сторону и, скривившись, посмотрел на директора школы.

— Ты прости меня, Жень, если можешь. И Толика прости. Плохо мы с тобой жили. Нельзя соседям так жить.

— Да, Сережа, — сказал Евгений Павлович. — Это правда — плохо мы с тобой жили. Нельзя так жить. Нужно жить хорошо. Маша мне внука родила, Иваном зовут. Теперь нельзя не простить. Не прощать — тоже грех.

— Спасибо, спасибо тебе...

— Ничего! Ты только пить заканчивай. Любит Россия себя пропивать. За всех будто. Только не жизнь это, и Россия — не Россия.

— Пить брошу, правда. Теперь брошу.

Мы не верили ему и не думали, что он сам верит себе, но сказать нам было больше нечего.

Прощаясь со всеми этими в несколько часов ставшими мне близкими людьми, я, конечно, обещал приехать еще, и уже садился в машину, когда Евгений Павлович сказал мне на прощанье:

— Знаете, что самое удивительное? У меня младшие классы забиты ребятней! В последние годы всех как прорвало рожать. Не знаю где брать учителей! У вас, среди знакомых, если есть такие, предложите им — пусть приезжают. У нас теперь не страшно.

Я ехал по обновленным улицам вечернего Небосвода, смотрел на то, как люди, уставшие, но веселые, возвращаются с работ, от стройки храма, гуляют по улицам целыми семьями, встречаются и разговаривают и радуются друг другу, и подумал, что не смогу написать журнальную статью о возрождении этого села. Этих перемен словами не объяснить. Чтобы понять, надо самим посмотреть на Небосвод. В начале дня туда приходит свет.



Марина Майорова
(с. Пятница Владимирской обл.)

СКОЛЬЗЯЩИЙ БЛИК УТРАЧЕННОГО РАЯ...
(Лирическая повесть)



Марина Ильинична Иванова (Майорова — девичья фамилия) родилась 26 мая 1940 года в г. Ленинграде. Родители учились в Театральном институте. Отец в 1943 году погиб. Окончила музыкальное училище в Калининграде. Преподавала в музыкальном и педагогическом училищах, в педагогическом институте. Вела передачи на радио и телевидении, печаталась в газетах. Впервые ее стихи были опубликованы в «Калининградском комсомольце», а потом «Тула вечерняя» представила большую подборку стихотворений, когда она работала лектором-музыковедом в филармонии. В 1991 году ее повесть была сдана в журнал «Ясная Поляна», но из-за серьезных экономических проблем журнал прекратил свое существование, и произведение так и не увидело свет. Ее статьи публиковались в «Тульских Епархиальных Ведомостях». В 1998 году приняла монашество. Проживает во Владимирской области и продолжает литературное творчество. Были изданы ее книги «Крошка Ду» (сборник рассказов) и «Дитя Серебряного века» (поэтический сборник).

*Маме моей,
Татьяне Семеновой (Майоровой),
посвящается*

1. Милоновы

С чего начать? Начнем, пожалуй, с одного страшного известия — оно положило начало концу. Концу чего? — спросите вы, возможно. Концу существования одного замечательного сообщества, складывавшегося годами, годами. А если взглянуть шире — всем подобным сообществам приходил конец. И нередко — в виде подобных извещений.

Пришел Алкаш, необычно возбужденный, и вместо своего «алчу! жажду!» брякнул: «Нас сносят!» — и сел, вернее, плюхнулся (так как такие никогда не садятся как порядочные, а плюхаются, постепенно ломая мебель у хозяев) и сердито засопел. Сначала все молча пытались переварить услышанное, а потом хором завопили: «Сносят? Как? Куда?» — «Куда-куда! К чертовой матери, вот куда!»

Все опять замолчали, вконец обескураженные. Наконец Татьяна спросила: «Кого сносят?» «Всех! Всех сносят. Весь поселок». Засопев сильнее, Алкаш обвел ничего не понимающую компанию мрачным взглядом и пояснил: «Тут будут строить большой кемпинг. Или там пансионат — с пляжами, рестораном и разными развлекаловками».

Так пришла эта ужасная новость. А с ней ощущение странного умирания, не-всамделишности всего: встреч, разговоров, самой жизни, наконец. До расселения было еще много времени, однако...

«Траурный» ужин назначили, когда первая семья получила ордер на квартиру. И

это была семья Татьяны, великолепной Татьяны, и ее мужа Николая, имевшего, между прочим, звание народного артиста, за что им и дали двухкомнатную вместо однокомнатной, положенной бездетной паре. Все это означало, что их славная компания, нет, целый мир, полный тепла, молчаливого знания друг о друге, разнообразных словесных занятий и веселых попоек, этот обжитой годами мир лишается своего центра, точки опоры. Именно в доме Татьяны, а летом на веранде или за столом в палисаднике и собиралось самое разнообразное общество, выверенное и отсеянное годами и представлявшее собой настоящий мальчишник. Женщина была одна, хозяйка дома, и скольких подруг ни приводили — и смиренных, и бойких — ни одна не приживалась в роскошной тени молчаливой, приветливой хозяйки. Видно, даже самые скромные не могли перенести ее главенства. А именно она и была тем центром, к которому летели мотыльки мужеского пола без всякой, впрочем, корысти. Не потому, что Николай был ревнив до бешенства (все помнили, как он швырнул в голову директора театра радиоприемник, и удержать его от дальнейшего удалось только Татьяне), а потому что при втором взгляде на ее прекрасное лицо у всякого нормального мужчины отпадала мысль приволочнуться за ней, возникавшая при первом взгляде неизбежно.

Татьяна была не просто красавица, она была похожа на цветущую, пышную ветку сирени. Она носила пестрые крепдешиновые платья, и это была ласкающая пестрота июньского луга. В разговоры она не вмешивалась, внимала им молча, иногда улыбаясь одними ямочками. Покуривала сигаретку, изредка бросая прелестную фразу, всегда кстати, ибо тем разряжала мелкие вспышки в компании самолюбивых петухов.

Всех привлекало в этот дом разное. Одних — очарование хозяйки, других — возможность быть выслушанным столь красивой женщиной, дружелюбно-внимательной, не дающей никому оценок. Третьих — сама атмосфера непринужденности, легкости, безобидного соперничества, в котором пышно расцветали все словесные таланты. А общество было самое словесное. Процветали каламбуры, шутки, импровизации и прочие мыслительные действия невинных и смысленных животных.

Один человек в этой компании имел свою, особую корысть — Алкаш. Его не интересовала ни красота хозяйки, ни состязательный дух, ни пальма первенства среди анекдотчиков. Он любил Татьянин квас. А так как он всегда хотел пить и по его толстой ряшке всегда стекали ручьи пота, то, вваливаясь и плюхаясь, он обычно стонал: «Алчу, жажду! Где, где вожделенное?!» Спиртного он не пил, но прозвище почетное «Алкаш», произведенное от вечных «алчу, жажду» закрепилось за ним навсегда. Еще у него была одна добродетель — не будучи сплетником и почти никогда ни с кем не разговаривая, он иногда отрывисто информировал всех о новых событиях, и информация его всегда была верной и точной. Незаменимый, скромный человек!

Вся компания была особенно хороша тем, что люди в ней подобались поразительно разные и все, совершенно все, были к месту. Ах, где вы теперь, такие разнообразные, такие славные и бескорыстные рыцари бесед! Жизнь сегодня печатает каких-то удручающе однообразных людей. А если и есть «разнообразные», то выглядят они какими-то реликтами, никто их в нашем деловом мире всерьез не принимает.

Ах, где сейчас Боль Мандо, славный Джан-Коль со своей Веркой-крикухой! Он ведь тоже прозвище свое почетное получил не сразу, а как все словесное, оно постепенно обкатывалось на языке острой компании и докатилось до заслуженного пышного Джан-Боль Мандо. На самом деле он был «Коль», как звала его Верка-крикуха. Стирая его необъятные штаны, майки и комбинезоны, она часто облегчала себе труд, выкрикивая: «Коль! Коль! Ты моя боль! Все люди как люди, ты один у меня — голь!» и что-нибудь еще подобное, но обязательно в рифму. Верка тоже была существо словесное, но к Татьяне не ходила — презирала «кобелиное сотоварищество». Она была, конечно, неправа, но упрямо стояла на своем. Коль не обращал внимания на ее вопли, он был философ и понимал, что при его профессии и габаритах стирка

его одежды превратила бы в ад жизнь любой, самой терпеливой женщины на свете. Коль был автомехаником и его главная рабочая позиция была лежащая. Как огромный скат, он часами валялся под разными машинами, и когда он выползал из-под днища, всегда собиралась толпа мальчишек, подбадривающих его разными горячими советами, потому что если вползти под машину ему удавалось сравнительно легко, то уж выползти!.. Впрочем, понятно.

На этот ежедневный спектакль приходила тетка Хасмик, кладовщица мастерской. Приходила жалеть его, потому что после смерти своего единственного сыночка Хачика, она находила утешение в жалении и посильном уходе за ближайшими соседями. Тетка Хасмик обычно становилась, сложив молитвенно руки на обширной груди и певуче приставляла над барахтающимся Колем: «Ах, Коля-джан, как ты, бедный, мучишься! Коля-джан, тебе диета нужна! А твой Верка тебе так кормит!»

Вот из этого «джан» и «Коль-моя боль» родилось со временем пышное Джан-Боль Мандо. Впрочем, кличка была подвижная и «Коль» и «Боль» менялись по обстоятельствам.

Джан-Боль, повторяем, был философ. Он всегда размышлял, никогда не обнаруживая своих философских выводов. Его словесность, а он ею, конечно, обладал, обнаруживалась крайне редко, и первой ее обнаружила жена, когда из беленькой кудрявой Вероники постепенно выпестовалась Верка-крикуха. Коль говорил иногда: «Вероника, сникни». И лишь со временем Верка догадалась, что это «сникни» имеет тонкое отношение к ее имени. Она услышала, наконец, скрытую рифму в этом однообразном «Вероника, сникни». С тех пор это «сникни» стало бесить ее, как бесит быка развешивающаяся перед его мордой тряпка. «Я т-те сникну!» — орала Верка, а Джан-Боль смотрел на нее прозрачным детским взором и никогда не забывал беленькую хохотушку прежних лет. Он полагал, что именно стирки извратили характер жены, и вменял эту вину себе.

Джан-Боль составлял молчаливую часть компании. Он сидел чаще всего на веранде в широченном кресле, которое кто-то специально для него притащил с помойки. Кресло помыли, заштопали, и оно подошло. Джан-Боль сидел в нем, положив здоровенные лапищи на подлокотники. Кулачок его румяного носа утопал среди щек, а в усах плавала, поворачивалась и замирала философская улыбка. Верка сюда не заглядывала, спокойную хозяйку она в душе побаивалась, и Джан-Боль отдыхал безмятежно.

Был тут еще один молчаливый, так называемый Иванов, верный Татьянин арапка. Был он такой же Иванов, как я — Ю-ши Ань. Он был еврей с мрачно-красивым итальянским лицом и с такими короткими ножками, что рост его еле достигал метра пятидесяти, что в сочетании с его прекрасным лицом сообщало бы его внешности несколько трагикомический оттенок. Но этого не происходило: Иванов был абсолютно закрытой системой и никаких интерпретаций не допускал.

У них с Татьяной были странные отношения. Зайдя с кем-то случайно, он намертво прилип к этому дому, хотя никому не понравился. Он был молчалив неинтересно. Как-то сказал неохотно, когда к нему обратились: «Я маленький начальник, мое мнение вряд ли кого-нибудь заинтересует». Так от него и отвязались, между собой называя его «начальник». Но постепенно «начальник» превратился в «мычальника», потому что единственной формой реакции Иванова был звук «хम्म». Правда, надо отдать должное, бесконечно вариантный по интонации. Им Иванов выражал все: согласие, раздумье, удивление и пр. Так что кличка — «мычальник» была очень точна, но, как ни странно, она не прижилась: слишком скучен и неинтересен был сам субъект. Так он и остался при своей фамилии, Иванов.

Татьяна невзлюбила Иванова сразу и откровенно, что всех очень удивляло, т.к. она была на редкость добрым и к тому же воспитанным человеком... Она и нелюбовь

свою проявляла вполне воспитанно. Но не заметить ее мог бы только полный кретин. Иванов не был кретином. Он был безнадежно и как-то мрачно влюблен в Татьяну и поэтому терпел сколько мог. Третировала она его постоянно и очень тонко, одним взглядом: когда ее взгляд нечаянно встречал его собачьи преданный немой вопль, глаза Татьяны мгновенно теряли обычную мягкость и становились пустыми.

Как же необычно и внезапно кончилась эта война взглядов! Однажды Татьяна наливала ему чай (а она была вежливой хозяйкой) и с кем-то разговаривала. Она стояла над ним, полная цветения, держа изящный локоть над его головой, как над какой-то недостойной внимания вещью, и, оживленно переговариваясь, капнула ему кипятком на плечо, на тонкую, как всегда белоснежную, рубашку. Иванов встал, молниеносным движением схватил Татьяну и поднял над головой как картонную куклу. Народный артист Коля взревел раненым быком, но несколько пар рук осадили его, и он свалился на стул с потрясенным взглядом и разинутым ртом. В течение всего действия он несколько раз порывался броситься на обидчика, но друзья держали крепко: никому не интересна была драка, наоборот, ситуация разжигала жгучее любопытство. Сама же Татьяна, как ни странно, не издала ни звука, не сделала ни малейшей попытки освободиться из сжимающих ее тело клещей. Она только напряглась и вытянула ноги.

Иванов пару секунд постоял, держа ее легко и непринужденно на вытянутых руках. Затем осторожно спустился с бугорка, отделяющего дом от пляжа, и побежал к морю. Компания, крепко держа обезумевшего Колю, сдвинулась к порогу. Мычальник со своей ношей зашел в море по грудь и вдруг резко присел, не выпуская Татьяну. Оба скрылись под водой. Все, вскрикнув, ринулись было бежать, но в ту же секунду оба показались из воды. И так же молча Иванов принес ее к столу и бережно опустил на пол. С обоих текло, и на полу тут же образовалась огромная лужа.

На всю эту «манипуляцию» ушло всего несколько минут, т.к. море было совсем рядом. В полной тишине, можно даже сказать, немоте, Иванов-Мычальник как был мокрый, в прилипшей к телу рубашке и потемневшем от воды галстук, сел и начал спокойно пить чай. С тех пор Татьяна его обожала, а ревнивый Николай уважал...

Дом Милоновых был всегда так открыт, так приветлив, что без конца в него приходили все новые и новые люди. Но далеко не все приживались — себялюбивым, надутым, без конца «якающим» тут места не было. Существовало много тестов для проверки гостей, но самый гениальный и безотказный назывался «вынос трофеев». Применяли его редко, но метко, когда надо было быстро отвести назойливого и неприятного гостя. Тогда кто-нибудь, в самом разгаре беседы (чаще всего это был Штифт, как самый воспитанный, самый «сэр») вставал и торжественно возглашал: «А не пора ли нам, господа, подготовиться к выносу трофеев?» «Господа» радостно соглашались и приглашали ничего не подозревающего гостя принять участие в выносе.

Внесем маленькое пояснение. Удобства в милоновском доме, как и во всех подобных жилищах, располагались во дворе. Поэтому во всех домах поселка существовали приспособления, экономящие время и здоровье. И у Татьяны, в конце веранды, за шторкой, стояло некое подобие трона с дырой в сидении. Трон был для гигиены и сбережения чувств со всех сторон завешен до пола. И внутри его таилась старая выварка, полная «трофеев». Их-то и предлагали вынести непонравившемуся гостю. Метод действовал безотказно. И если у гостя хватало ума не удалиться сразу, то уж больше он не заявлялся в сей гостеприимный дом. Один недостаток был у данного метода: он был осуществим только в зимнее время, т.к. летом все ходили в гостеприимный деревянный домик...

Гости, менее неприятные, подвергались другим отборочным тестам. Только два из недавно прибывших не подверглись никаким испытаниям — Иванов-Мычальник и Леонтий... Иванов потому, что с ним вообще долгое время никто не разговаривал, он присутствовал как вещь. А Леонтий! Ему просто невозможно было устроить никако-

го подвоха. И не потому, что Леонтий был известным в городе певцом, не потому, что обладал недюжинным ростом — на такое в нашей компании не смотрели. Просто Леонтий был человеком редких достоинств — душа у него была детская, чувство юмора — грубовато-примитивное, гнев необузданный, щедрость для друзей совершенная, хотя дома на него иногда нападали припадками мелкой расчетливости. Бас у него был глубокий, бархатный, и в голосе его, казалось, пела вся душа. Жизнь его порой ломалась резкими зигзагами, но он не тужил. В юные годы его занесло в духовную семинарию в Алма-Ате. Но его бурлацкий нрав не снес строгой дисциплины и иерархичности семинарии. И однажды наш молодец перебрался через высокий забор и был таков. За спиной осталась стопроцентная карьера соборного протодьякона, любимца архиереев и прихожан. Но он об этом не думал. Интересно, что все-таки в конце своей не очень долгой жизни он попал на церковную стезю, украшал своим пением церковный хор. И когда уже был смертельно болен (почки), никто, даже жена, не воспринимала его всерьез как больного человека — столько в нем было жизни. И регентша порой сердилась и считала его симулянтом, когда он в изнеможении присаживался на скамейку во время пения. И только после его отпевания она позвонила его еле живой от горя жене и просила прощения: «Я ведь думала — такой богатырь и притворяется».

По его вокальным достоинствам ему бы петь в опере, но Леонтий был просто не способен на какие-нибудь карьерообеспечивающие движения, он просто любил петь. Иерархия его ценностей строилась так: первое, конечно, пение. Затем друзья, т.к. он родился с этим врожденным, редким сейчас качеством — чувством дружбы. Затем шла жена, его Люсенок, Люсичка (ударение, пожалуйста, на «и»), крепкая духом женщина, не достававшая ему до плеча, но способная с любовью сносить все его артистические выходки. Оба они вышли из первых своих супружеств, как из штормового моря и после длительных перемоганий с «разнообразными не теми», встретили, наконец, друг друга и прожили вместе столько, сколько Леонтию было еще отпущено. Люсичка в компании не бывала, он не брал ее в свое мужское приволье. Друзья же просто обожала Леонтия, с первого появления он внес с собой особый колорит могучей силы и какой-то осязаемой подлинности. Кстати сказать, к накоплению «трофеев» под треном он не имел никакого отношения. Как-то, вначале, ему сказали: «Ну что ты пойдешь в эту забегаловку? Холодно! Тут на веранде все приспособлено». Он поглядел, вернулся и царственно пророкотал: «Нет уж, эти ваши креслица, кастрюлечки, горшочки не для меня. Для вас, мелкоты. А я лучше схожу во дворец г...а», — и гордо, вальяжно уплыл к вонючему домику.

Однажды, когда Николай еще имел звание заслуженного, прошла премьера лермонтовского «Маскарада», решившая вопрос с новым званием. Сам первый секретарь обкома зашел за кулисы в окружении многочисленной свиты и пожимая руку еще не отошедшему от переживания финальной сцены, бледному Николаю, сказал: «Ну, поздравляю, поздравляю! Это успех! То-то столичные оближнутся!» — и, повернувшись к свите, с деланной наивностью спросил: «А что он у нас? Разве еще не народный?» Все засмеялись шутке начальника. Вопрос со званием в принципе уже был решен.

Николай в этот вечер был на особом подъеме. И не от похвалы «хозяина». А от пьянящего ощущения только что пережитой на сцене трагедии и того чувства полной власти над залом, какую может дать только подобное подлинное переживание. Он был центром вечеринки, его несла волна радости. Он много пел, спел даже знаменитые бродвейские песенки, арию Мекки-ножа. Читал «Вы помните, вы все, конечно, помните...» и даже сплясал каскадный номер из «Сильвы». Все — совершенно блестяще. Шампанское лилось рекой, гул стоял невообразимый. А посреди этого неудержимого веселья тихо сияла подлинная царица вечера, сама хозяйка дома. Сего-

дня она была другая, не такая как обычно. Сегодня это была блоковская Прекрасная Дама. По случаю премьеры Татьяна надела черное, чуть поблескивавшего тяжелого шелка, платье. Строгое, почти закрытое и поверх узкой щели выреза — нитку чудом сохранившихся маминых дымчатых топазов. В этом платье она была похожа на тонкую горящую свечу — так оттеняло оно серебряный дым ее волос, узкую ослепительную полоску кожи в вырезе, прозрачную зелень глаз. Спокойная, она сидела среди шума и гама, и нет-нет чей-нибудь взор останавливался на ней в немом восхищении, но встречаясь с ее дружелюбным взглядом, «подглядчик» виновато улыбался и вновь кидался в кипящий котел веселья.

Вот к такой-то загадочной царице, такой неведомой Татьяне прилип после премьеры очень неприятный человек. Это был народный поэт, обласканный и захваленный властями и привыкший к сладкому воркованию вокруг своей персоны. Года три назад он решил испробовать себя на театральном поприще, и ему это понравилось. Две его паршивые, но очень «идеологически выдержанные» пьески уже шли в театре, и он, говорят, уже кропал третью.

Он был за кулисами свой человек и, увидев такую Татьяну, увязался за ней в гости, нимало не подозревая, что его присутствие в милоновском доме ни у кого не могло вызвать особой радости. У него был нос от породы утиных, очень тонкая кожа с близкими сосудами — от выпивки его лицо становилось багровым. Но не это все делало его неприятным. Он еще имел весьма противную манеру — глядя на собеседника, непрерывно потирал ручки, как бы предвкушая его последующее съедение. Сегодня он был очень возбужден, не сводил с Татьяны глаз и перебивал всех, когда ему в голову приходил очередной комплимент. Николай мрачнел. И Штифт, предвидя неприятные осложнения, попытался разрядить обстановку. Встав в позу и протянув руки к Татьяне, он продекламировал из Верхарна: «О женщина, вся в черном, столько дней кого ты ждешь среди шума площадей?» — и после театральной паузы, повернувшись к поэту, свистящим шепотом закончил: «Я жду того, чей нож отведает крови!» Все засмеялись. Но народный поэт намеков не понимал. Он продолжил осадку. «Татьяночка! — сказал он, многозначительно улыбаясь. — Что бы там ни сказал хозяин, а у вас пока что есть только заслуженный! Не пора ли обратить внимание на подлинно народное дарование?» — и довольный своей шуткой, он засмеялся, не заметив, какой сталью блеснул взгляд хозяйки, и как набычился Николай. Не успели еще проявиться последствия этого барственного хамства, как Штифт, незаменимый в подобных ситуациях, подхватил гостя под ручку и, ведя его к выходу, спросил: «Не желаете ли вы, Анатолий Иванович, принять участие в некоем нашем обряде?» Все замерли, подавляя немедленно подступивший восторг. Невинная жертва осведомилась, в чем заключается этот обряд. «Обряд этот... ммм... — протянул важно Штифт, — называется «Вынос трофеев». Как все пишущие, поэт был равнодушен ко всяким неизвестным ему ритуалам и обрядам, поэтому позволил увлечь себя на веранду, за коричневую шторку. В ту же секунду он выскочил оттуда. Лицо его впервые от рожденья было белым, губы тряслись, и козлиным тенором он выкрикивал одно и то же: «Это что вы себе позволяете, а? Нет, что вы себе позволяете!» Штифт развел в недоумении руки и, глядя на разъяренного драматурга младенчески-невинным взглядом, спросил: «Что уж я себе позволяю такого необычного, Анатолий Иванович? Мы просто всегда облегчаем труд нашей хозяйке! Неужели вы можете себе представить, что такая прелестная женщина... сама станет выносить наши... э... произведения?» Штифт смотрел на него в таком недоумении и лица всех выражали такое полное понимание вопроса, что оскорбленный вдруг смутился и подумал, что, может, его и не желали оскорбить. Он как-то утих, задумался и вскоре нечаянно ушел.

К сожалению, сей довольно жестокий урок не до конца излечил влюбленного поэта. Был еще один, случайный, визит, ставший потом легендой театра и чуть не сто-

ивший незадачливому поклоннику Татьяны жизни, а ее ревнивому мужу — очередного звания.

Как-то, через пару месяцев после описанных событий, Милоновы возвращались домой. Спектакль был удачен, в кармане не было ни гроша: не наскребли даже на бутылку пива. И Николай, терзаемый непогашенным азартом спектакля, вопил на всю улицу: «Вина! Вина! Эх! Водочки бы стопочку! Полцарства за стакан!» Вдруг с противоположного тротуара крикнули: «А у нас — бутылка! Полная, нераспечатанная!» Николай остановился. По той стороне улицы шествовал народный поэт в сопровождении актерика, комсорга театра, который в последнее время вился вокруг него в надежде получить очередную роль в его новой пьесе. Николай поморщился, но жажда превозмогла неприязнь. Он проявил роковую беспринципность, и через минуту компания, уже сдвоенная, направилась к уютному домику на берегу. Поэт-драматург радостно потирал ручки, поглядывая на Татьяну. «Только вы знаете, — сказала она, посмеиваясь, — у меня очень странная закуска». — «Ничего, ничего, любая сойдет», — дружно заверила команда. «И хлеба всего три кусочка». — «Так поедим! Не маленькие!»

Действительно, на длинном столе, занимавшем почти половину комнаты, сиротливо стояла селедка «в шубе». Рядом высился недавно испеченный торт, задача которого была — как следует пропитаться кремом к завтрашнему дню. Завтра было 7 ноября, все остальное должны были принести гости после демонстрации. «Ну что ж, — сказал народный поэт все еще не народному артисту, — это даже оригинально — селедка с тортом!» Но закусить оригинально так и не пришлось. Когда была разлита водка в старинные стаканчики-неваляшки (которые, если падали, никогда не переворачивались и не разливались), разложена «шуба» по тарелкам, поэт решил сказать тост. Скажем заранее во оправдание бедолаги: он, к сожалению, никогда не понимал подлинной «глубины» своих шуток. Говоря чудовищные глупости, он думал, что всего лишь шутит, шутит невинно. Все знали это его свойство, но не всегда хватало благоразумия — потерпеть. Поэтому шутника нечасто приглашали в гости. Но он и не унывал. Он сам ходил по гостям, искренне считая, что оказывает им немалую честь.

Итак, он решил сказать тост. Глядя на хозяйку, подняв свою неваляшку, он медоточиво произнес: «Поднимаю сей оригинальный сосуд в надежде, что когда-нибудь мы с тобой, Татьяночка, выпьем в более подходящей обстановке... на брудершафт!» И выпив залпом, он оглядел всех, потер ручки и засмеялся.

О, эти шутящие поэты, обласканные любимцы непривередливой музыки! В самозабвении своем, что они порой себе позволяют!

Не успела Татьяна тихо ахнуть, как раздался львиный рев. И в ту же минуту длинный, громоздкий стол со всем, что на нем стояло, встал на дыбы и опрокинулся бы на поэта, если бы тот не отскочил в сторону с невероятной прытью. Николай с ревом бросился на него, как ни старалась перехватить его Татьяна. Комсорг испуганно зажался в угол, поэт молнией увертывался от разъяренного хозяина, но все же был настигнут им в углу, за зеркальным шкафом. В этот миг Татьяне удалось схватить разъяренного мужа. Она сумела пропустить ему руки под мышки и сцепить пальцы рук на его холке. Это был замок Нельсона, которым она давно овладела в театральном кружке самообороны (самбо). Это на секунду ослабило Николая, но тут же он бросился в новую атаку на врага, волоча на себе повисшую на побелевших пальцах жену. Он даже не ощущал груза на спине и только ревел: «Уубьюуу!» и швырял в обидчика все, что попадалось под руку. Давно уже сокрушился шифоньер, с мелодичным звоном осыпавший кусочки своих зеркал. Давно уже за разбитыми окнами собралась толпа наблюдателей, которая молниеносно поделилась на две команды болельщиков. И дядя Толя-огурец, виртуозно передвигаясь на инвалидной коляске, азартно орал, надувая свою тошную, пятнистую шею: «Так ему, Иваныч! Врежь как

следует! Да вдарь ты ему под дых!» А тетя Хасмик пронзительно причитала: «Вах, вах! Бэдний! Он же убьет его!» Но Николай ничего не слышал, и только поразительная ловкость поэта спасала его от окончательного возмездия. Наконец, Николай поскользнулся на торте, и Татьяна успела отпереть дверь. Поэт с комсоргом выскочили на улицу как были, без плащей. Но Ураган с новыми силами несся на них. Догнав поэта, Николай свалил его в грязь и, мгновенно оседлав, принялся его душить. Тут, уже не на шутку напуганная Татьяна, бросилась к соседям, зовя их на помощь. Но при таком обороте дела толпа любопытных мгновенно рассеялась. Один лишь дядя Толя-огурец вертелся вокруг катающихся в грязи противников и подбадривал то одного, то другого. Поэт явно ослабел и начал хрипеть. На счастье показался патруль, матросы. Татьяна бросилась к ним, крича: «Помогите! Он убьет его!» Матросы, подтянув плечи и ремни на бушлатах, подбежали и решительно отдернули Николая от его хрипящей жертвы. Но, увидев под разодранной рубахой тельняшку, которую Николай носил, не снимая, сразу успокоились. Миротвориво протянув: «А, братишка!» — и тут же, потеряв к этому делу интерес, отправились дальше. Потом Татьяна со смехом рассказывая об этом, говорила: «А, братишка, свой! Значит, давай, души штафирку!» Но тогда ей было не до смеха.

Эта заминка ослабила мертвую хватку Николая, и поэту удалось выбраться из-под своего душителя. Да и «убийца» вдруг потерял свой пыл, мгновенно охладев к жертве, и позволил увести себя домой.

Когда они вошли в комнату, Татьяна не знала: плакать ей или смеяться. Картина была устрашающая: стол лежал, обнажив свой некрасивый облупленный живот, стулья валялись вперемежку с битым стеклом и посудой. А среди этого погрома медленно двигался неуклюжий желтый пес Шкотик, тщательно вылизывавший пол от остатков торта и селедки.

Николай надулся, машинально крутя перед глазами разбитые костяшки пальцев, и вдруг неприязненно глянул на Татьяну. Сердце у нее дрогнуло, она поняла, что сейчас начнется вторая серия действия, и героиней ее будет она сама. И в этот миг она потеряла сознание. Вполне правдоподобно, рассудив, что лучше уж постирать платье, чем остаток ночи выслушивать самые ужасные упреки и обвинения в поводах, которые она, оказывается, многократно подавала этому «поэтишке». Увидев ее распростертой среди размазанной закуски и битой посуды, Николай растерялся и, схватив ее на руки, побежал в спальню, приговаривая: «Что ты, что ты, кисуня?! Что с тобой?!» Он уложил ее на постель и стал дуть ей в лицо. Продержав провинившегося достаточное время в страхе, Татьяна позволила себе «прийти в сознание»...

Утром кто-то зацарапался в дверь. Татьяна накинула халат и вышла в зал. Посреди устрашающего развала стояли два юных студийца, парень с девушкой и в немом ужасе оглядывались по сторонам. Они впервые вошли в дом любимого артиста и руководителя студии. Чуть улыбнувшись, Татьяна спокойно сказала: «Не обращайтесь внимания. У нас тут вчера произошел несчастный случай». «А Николай Иванович?!» — ужаснулись было студийцы, но по спокойному виду хозяйки сообразили, что к волнению нет повода, и уже робко спросили, пойдет ли Николай Иванович на демонстрацию. «Нас послали к вам...» «Нет, нет,— перебила их Татьяна,— он болен», но, увидев испуг в глазах ребят, поспешила успокоить их и завела в спальню. «Коля, к тебе пришли». Николай нехотя разлепил глаза. «А, Олег, Валечка! — пробормотал он,— я вот тут немножко...» Они закивали головами. «У него небольшая температура,— сказала Татьяна и многозначительным тоном добавила: «Вы, конечно, объясните там, что Николай Иванович болен?» «Конечно, конечно!» — в один голос закричали ребята. Можно было не сомневаться — студийцы обожали Николая Ивановича и преданы были ему бесконечно. Так что никаких ненужных деталей их отчет не содержал.

Кстати, после этого инцидента Николай довольно быстро получил новое звание.

Прискорбная история никак не повлияла, хотя весь город знал правду о происшедшем. Знали ее и в обкоме. Но ввиду того, что поэт упорно твердил, что он той ночью свалился в незакрытый канализационный люк и упрямо не хотел признать себя битым, дать делу официальный ход не было никакой возможности. А в театре просто царил праздник, и Николай ходил в героях.

2. Пишущая братия

Золотое время, когда мы так задыхались, томились, скучали по истине и свободе! Что мы тогда могли знать о свободе? А уж тем более — об истине! Одно можно теперь сказать: это было время, когда ум, втиснутый в жесткие рамки всевозможных запретов, искал и находил возможности тончайших художественных реализаций. Это было время, когда ум был широко востребован, и личность ценилась, невзирая на общие попытки стусевать всех в однородную советскую «нацию». Это было время разнообразных, часто противоречивых, но обладающих магнитной силой обаяния, личностей. А мы-то думали, что мы несчастны...

Компания, которая собиралась у Татьяны и Николая, была своеобразна, как, впрочем, и многие компании тех лет. В ветхом домишке на берегу всегда было шумно и многолюдно: надо было отметить какое-нибудь событие, шли к ним. Надо было утешиться, отойти от очередной неприятности, развеяться — конечно, к Милоновым! Народу всегда было много, но соль компании, ее, так сказать, сердцевину, составляли всего несколько человек. Их дружба держалась на трех китах: любви к поэзии, к искусству, интересе к людям и неприятии какой бы то ни было поэты.

Как говорилось уже, все они были люди словесные, почти все хоть что-нибудь сочиняли. Но главным и непререкаемым авторитетом был Штифт. Кличке свое он был обязан своей угловатой, сухощавой фигуре, какой-то удивительной стройности и прямоте осанки. Но и его острая, порой злая, но всегда изящная манера осаживать зарывающихся нахалов, как-то тоже сообразовывалась с этим именем — Штифт.

Он был поэтом. Настоящим. Что вполне подтверждалось тем, что его нигде не печатали. Хотя возможности такие иногда предоставлялись и ему. Однажды в юности он наивно зашел в известный молодежный журнал в Москве, попал сразу к главному редактору и прочел ему свои стихи. Редактор, известный поэт, высокий, сухощавый, темноволосый, разговаривал с ним откровенно. «Стихи у вас приличные. Мы могли бы дать небольшую подборку. Но... нужен паровоз». «Паровоз? — не понял Штифт. — Какой еще паровоз?» Редактор усмехнулся. «Ну, вы могли бы написать что-нибудь на комсомольскую тематику... О БАМе, например, — и, увидев на лице Штифта растерянность и недоумение, пояснил: — Мы ведь издательство при ЦК ВЛКСМ, у нас это ведущая тематика». Штифт молчал. Лицо его ничего не выражало. Главный тоже молчал, глядя на него понимающим взглядом. Потом, слегка вздохнув, прибавил: «Ну как, сможете? Это и будет паровозик... А к нему мы прицепим вагончики — ваши стихи». Пауза затянулась. Еще раз вздохнув, редактор мягко сказал: «Подумайте... у вас есть будущее. Я это вижу отчетливо». Штифт вежливо раскланялся, обещав обязательно подумать. Он вышел полный горечи и возмущения. Через много лет, уже повзрослевший, он понял, какое доверие оказал ему тогда этот главный, так разговаривая с ним, человеком пришедшим с улицы, о котором он ничего не знал... Но тогда! Штифт, разумеется, не стал «строить» никаких паровозиков и постепенно смирился с тем, что лавры Парнаса ему не доступны.

С работой у него тоже как-то не сложилось. Он был социологом, представителем молодой, модной и совершенно бесперспективной для того времени профессии. Когда работы над несколькими актуальными, вопиющими темами были закрыты одним указанием сверху, а его кандидатская так и не дождалась защиты, так как статистиче-

ский материал, составлявший основу исследования, никак не вписывался в доктрину строительства коммунизма, он и еще несколько ребят, толковых и достаточно трезвых, «покинули юную науку по-английски, — как выразился впоследствии Штифт, — но она, наука, их ухода не заметила». Но заметила жена, Ленка, и не захотела разделять его «высокие мотивы» и неизбежную нищету и тоже удалилась. Штифт, как истинный джентльмен, оставил ей и дочери квартиру со всем нажитым за одиннадцать лет скарбом и теперь, как свободный художник, кочевал из одного домоуправления в другое, работая то дворником, то кочегаром. В те незабвенные времена этой категории работников предоставлялась жилая площадь. Служебная, разумеется. Так что образовательный ценз дворников и кочегаров в то время был весьма высок...

Благосклонные волны судьбы прибили однажды его утлую лодчонку к театральному причалу: он стал истопником театрального и там, в театре познакомился и сошелся с Милоновыми, очень скоро став завсегдатаем их дома.

Еще стоит отметить в плане поэтическом Алкаша, Аркашку Кудрявцева. Алкаш был тоже любителем поэзии и даже тайно пописывал, но вкусы его были исключительно однообразны — он признавал только Сашу Черного и раннего Заболоцкого. И когда Николай давал себя уговорить и читал из «Столбцов», например «Цирк», Алкаш выходил из заявленного и утвержденного им образа. Его потная физиономия теряла свою скучную, скарденную мину, глаза превращались в щелочки, а по щекам плавало блаженство. Он и сам мог что-нибудь накарябать в этом стиле, но его вирши были слишком грубыми, а порой и циничными. Возможно, они бы и пригодились лет этак через пятнадцать, на Арбате. А тогда только Штифт относился к ним с некоторым «гастрономическим» интересом. Но один стишок Алкаша все же произвел настоящую сенсацию. Его последняя строка вошла в золотой фонд поговорок милоновского дома. Мы считаем необходимым привести все стихотворение, иначе читатель не поймет удивительной прозорливости Алкаша, да и смысл самой строки требует полного раскрытия.

Итак, стихотворение Аркадия Григорьевича Кудрявцева (почетная кличка — Алкаш):

*Бьют по морде человека.
Что же, это мода века.
Бьют по харе. Бьют по роже.
И по фейсу лупят тоже.
Бьют по рылу.
Без конца:
Нет лица для подлеца!*

Да-а-а! Крепко сказано. Но зато актуально. Особенно в наше славное времечко.

Сама хозяйка как будто не имела отношения к сочинительству. Она была замечательным слушателем и тонким, точным, но очень деликатным критиком. Ей первой читал Николай свои новые поэтические программы. А был он чтецом выдающимся. Несколько его записей входили в так называемый «Золотой фонд» радио. И когда он оттачивал свои программы, доводя их до совершенства, критиком и режиссером была жена, Татьяна. А уж потом все выносилось на худсовет.

Татьяна и сама могла бы писать: у нее было очень емкое, образное слово. Но, во-первых, она была ленива, скорее созерцательна, чем деятельна. А во-вторых, совершенно лишена честолюбия. Как-то она написала маленький мемуар о первых мирных днях в одном из гарнизонов Белорусского фронта, куда она приехала за своей дочкой. Маринка последние месяцы войны кочевала с бабушкой и дедом-полковником в армейском обозе и была подлинным утешением для пожилых, усталых солдат. Их тоже где-то ждали дети и жены, и этот ребенок, кудрявая и важная девочка, скраши-

вал их тоску по мирной, семейной жизни. Татьянино эссе всех привело в восторг, и перед очередной военной датой кто-то из друзей отнес его в газету. Материал был принят с энтузиазмом — живое, нештампованное слово о войне. Требовалось очень мало — выкинуть пару слов из заключительного эпизода: «такой кудрявенький, пузатенький христенек на руках матери... серьезно и строго вглядывался в грядущую новую жизнь». Вот этого «христенка» — замечательный, сразу воспринимаемый образ — и надо было заменить. Татьяна и не шелохнулась, и очаровательное эссе так и осталось лежать в шкатулке среди метрик, писем и всевозможных квитанций. Через пару лет она написала сразу двадцать пять маленьких стихотворений. Это был, скажем, спровоцированный выброс поэзии: просто, оставшись без работы в театре, она устроилась диспетчером в одном важном, закрытом учреждении. Она должна была выпускать и впускать машины, отмечая время их отбытия-прибытия в журнале. При этом запрещались всякие занятия: ни читать, ни вязать, ни разгадывать кроссворды нельзя было категорически. И тогда в этом вакууме, в этом «отсутствии присутствия» забил фонтан поэтического вдохновения, выплеснувший целый цикл стихов, ни на что не похожих. Без всякой рифмы, похожие на афоризмы, горькие и нежные как осенние цветы. Когда она прочла их Николаю, он возмутился, обозвав это все чернухой, и сразу загасил тоненькую свечку поэтического порыва. Через несколько лет, найдя стихи в шкатулке, Татьяна неожиданно для себя дала их прочесть Штифту. Тот, прочтя их, пришел в страшное волнение. Он ходил по комнате взад и вперед, вычитывая отдельные строчки, вынимая то один листок, то другой и непрерывно повторял: «Нет! Мне так не написать... нет, куда там!.. Это же что-то уникальное», а потом остановился и резко спросил: «Слушай! Почему ты не пишешь? Я не понимаю!» «А зачем?» — спросила Татьяна. «Как зачем? И что это вообще за вопрос? Разве стихи пишут зачем-то? Их пишут, потому что их невозможно не писать. Задумают! Им требуется быть написанными».

«Нет,— сказала Татьяна,— не требуется. И потом мне Коля запретил. Он очень обиделся, когда я прочла их, кричал, что я черной краской замазываю нашу жизнь, что он и не знал, что у меня могут быть такие мысли... Назвал их «пауками». Татьяна усмехнулась. Штифт, невозмутимый Штифт взорвался. «Ну да! — закричал он.— Все хорошо, прекрасная маркиза! Твой Коля, видать, ничего не смыслит в поэзии! И как он еще умудряется читать стихи? Ему главное, чтобы все было, как в прописях, чтобы ничто не омрачало горизонты, тогда он сможет спокойно заниматься своими делами. А на то, что творится в мире, ему глубоко наплевать!» Штифт готов был и дальше продолжать свои филиппики в адрес Николая, но наткнувшись внезапно на сухой и отчужденный взгляд Татьяны, сразу остыл. «Ну, прости, прости,— заговорил он примирительно,— просто все это так неожиданно... и такой дар! Мне просто жаль. Я понимаю, что перешел все границы. Но ты не обижайся». «Ладно. Сочтем этот выпад за несколько неудачную реакцию на экзотику». «А ты подаришь мне их?» — спросил Штифт и протянул руку. «Между прочим, это тебе и предназначалось,— улыбаясь, ответила Татьяна,— но с одним условием: не надо никому показывать». «Идет, сказал Финдлей»,— и Штифт отправил стихи во внутренний карман пиджака.

Но однажды Татьяна сама себя процитировала. Это было, когда выяснилось, что профессия Иванова — сантехник. Татьяна подошла к нему и певуче произнесла: «Трешка за поломанный бачок! Эх! Где б такую трешку раздобыть, чтоб поломанное сердце починить!» И она легонько взлохматила прекрасные, черные как смоль, итальянские кудри Иванова. И тут Иванов покраснел густым, багровым румянцем! Все засмеялись. Но настроение Мычальника вдруг резко изменилось. Он стал мрачен как никогда. Он ведь заметил молниеносный взгляд Штифта и истолковал его по-своему. А Штифт просто узнал короткий афористический стишок, и в этот момент это было их маленькой тайной с Татьяной. Иванов ничего этого не знал. Он всегда

ревновал Татьяну к Штифту, особенно он не мог выносить, когда Штифт начинал медленно читать: «Я услышал во сне аметистовый хруст... Мне приснился во сне аметистовый куст...» В этих стихах Заболоцкого слышалась некая тайна. И эта тайна казалась Иванову угрожающей. Он предполагал, что Штифт влюблен в Татьяну и считал его главным соперником. Он не ошибался. Штифт на самом деле был влюблен. Но совсем не так, как это представлялось Иванову. У Штифта и в мыслях не было ничего конкретного, плотского, — он любил Татьяну как воплощение изящества мысли, тонкости, как саму поэзию. Наконец, как Прекрасную Даму. Да и в самом Штифте, в его манерах, его тонкой сухощавой фигуре, на которой одинаково элегантно смотрелись и модный пиджак и старый выцветший свитер, в голосе Штифта, мягком, глубоком баритоне — словом, во всем чувствовалось что-то отличное, отборное. О чем весьма забавно сказала одна случайная в их компании дама, желавшая польстить заинтересовавшему ее Штифту и в то же время показать свою образованность: «Как это вам удалось, — проворковала она, восхищенно глядя на него, — соединить в себе нечто блоковское и пастернаковское?» Никто не успел еще опомниться от высказанной благоглупости, как вдруг Алкаш оторвался от какого-то журнальчика, который весь вечер внимательно изучал, и недовольно пробурчал: «И вправду — нахал. Все себе и себе! Просто в его беспутной башке есть маленький блок, засеянный пастернаком». Все грохнуло, а Штифт любезно поклонился слегка растерянной даме.

3. И другие...

До сих пор мы живописали картину милоновского дома со всем, его составляющим. Но было еще нечто в окружающей его среде, и это нечто воспринималось как что-то естественное, как некий фон жизни. И оценилось вполне лишь тогда, когда все разъехались и расселились по спичечным коробкам в городских густонаселенных домах. Это нечто — маленький, тесный и почти семейный мирок прибрежного поселка, где все друг друга знали, как облупленных, давно сжились и срослись друг с другом настолько, что всякий знал, что скажет любой из них в такой-то ситуации, как кто поступит в таком-то случае. И, как всегда в подобном мирке, здесь были свои герои, свои шуты, свои свары и развлечения. И каждый человек занимал свое, ему одному присущее место. И теперь этот славный, привычный мирок разваливался, как карточный домик, под напором чужой и властной воли...

Милоновский домик стоял в небольшом тупичке. Когда-то берег был широким, с песчаным пляжем. Постепенно море, подкрадываясь все ближе и ближе, отъедало береговую полосу по кусочку, пока, наконец, милоновский дом не оказался в тревожащей близости к коварной и ласковой воде. Николай даже опасался, что их домик однажды смочет. Опасался, как выяснилось, зря.

Все остальные дома тянулись по проулкам к центральной «авеню» с ее вечной пылью, вечными козами и разномастными стадами крякающих, шипящих и гогочущих гусей и уток. На стыке проулков и улочек стояла хибара дяди Толи Огурца. А он сам, в инвалидной коляске, в кепочке блином восседал, как привратник, с рассвета до заката, обозревая всех проходящих и комментируя все, что вызывало у него интерес. А особый интерес вызывали у дяди Толи женщины, независимо от возраста и семейного статуса, — женщины, так сказать, как класс. Сам дядя Толя давно уже представлял собой нечто вроде иссохшего ящера с тощей жилистой шеей, перепелесым, обкусанным тупыми ножницами загривком и бурой пятнистой шкурой. Себя он не считал большим «красавцом», но зато хорошо представлял, как должна выглядеть нормальная женщина. И все его комментарии строились на почве этого точного знания и рыбацкого опыта. «Эй ты, стручок! — кричал он какой-нибудь девчужке. — Ты разве

девка? Тюлька ты черноспинка, вот ты кто. Пузцо-то нарастить надо бы маленько! А то кто тя такую приметит?» «Тюльки» давно перестали доказывать Огурцу, что именно это и есть самая новомодная фигура, просто проходили с независимым видом. А уж если какая-нибудь показывала язык, дядя Толя приходил в восторг, прищелкивал пальцами и долго веселился.

Высшим комплиментом у него был «бычок». «Ишь, гладенькая! — восхищался он какой-нибудь бабенкой.— Ну ровно бычок! Прямо хоть щас на сковородку! И пузцо тебе, и спинка!! И все остальное приложено!» Как-то из города заехала к тетке Хасмик племянница с мужем. Увидав пышную армянку, дядя Толя заорал: «Батка родный! Встань из гроба, глянь! Вот баба так баба! С какого фасаду ни глянь, все густо! Титьки-то как бонбы!»

На этих злополучных «титьках» появился Карен, муж молодухи. Сразу поняв, к кому относится столь изысканный комплимент, он коршуном кинулся на дядю Толю, схватил его жилистую шею и стал сворачивать ее, явно собираясь задавить дядю Толю, как гуся. Немощной инвалид уже начал хрипеть, но, слава богу, близко оказались Джан-Коль и Федька-таксист. Они с трудом оторвали Карена от дяди Толиной шеи и уволокли в дом тетки Хасмик. А дядя Толя очень юрко отрулил к себе, за спасительную ограду, где долго кашлял, плакал и ругал «этого дурня», ничего на свете не понимающего: «И за что ему такая баба досталась!» С тех пор он стал осторожней в своих комплиментах.

Но неизменным оставалось его отношение к самой важной даме поселка, Зинаиде Петровне. Она была большим начальником, заведовала тем самым домоуправлением, к которому был приписан поселок. Она была очень образованной, любила красивые иностранные слова, говорила — «севрант» или «он очень кулоторный, юридированный человек». Но главное ее достоинство составляли развалистые, пышные бока, игриво колыхавшиеся при каждом шаге, и вся необъятная территория ниже спины. Под всем этим богатством виднелись тонкие и сухие козьи ножки. Дядя Толя по настроению комментировал стати начальницы. Когда из-за ноющей боли в скрюченных ногах он не высыпался, то небрежно цедил: «О! тарантас поплыл. Смотри, не развались по дороге!» Но когда он был в азарте, что происходило чаще всего, тогда с упоением вопил вслед Зинаиды Петровны: «Это ж надо такое создать! Ну, щедро, щедро! На пять баб бы хватило! Это ж прямо царь-ж...а!» И все в таком роде. Зинаида Петровна реагировал по-разному. Ее очень возмущал неведомый ей «тарантас», и она не раз грозила Огурцу прислать счет за лампу-двухсотку, вооруженную по его просьбе на столбе для лучшего освящения панорамы. Дядя Толя на время затихал, а потом опять принимался за свое. Удивительно, что на второй эпитет Зинаида почему-то не обижалась, несмотря на грубое словцо. Ее пленяло явное дяди Толино восхищение, да и льстило царское достоинство, приписываемое деликатной части ее тела.

С дядей Толей жил племянник, Витька Огурец (Огурцовы — это их фамилия), по кличке «понырок» Эту кличку он обрел не так давно, но она столь ему подходила, что закрепилась сразу и намертво. Так его окрестила тетя Лида, родственница Жорика-монтера, которую привезли к нему доживать из Рязанщины. Это была спокойная, крупная бабка, немногословная, но очень наблюдательная. Долго она присматривалась к чудной приморской жизни и однажды заметила: «У нас, когда я девкой была, бражку варили. Мужики ее прямо ковшами хлебали, только следи. Вот у вас тут вся жись такая, как бражка эта,— и не шибко пьяная, а все ж всегда веселая». Потом так и говорили: «жись, как бражка». Потом заметили, что не любит баба Лида, когда ее бабкой называют: сразу строжеет взгляд и губы поджимаются. Не менее наблюдательная Ганька, рыбацкая жена, даже спросила: «Баба Лида, а тебе, я вижу, не нравится, когда тебя бабушкой называют». Баба Лида опустила взор и строго заметила: «Я — девица. Замужем никогда не была. У нас в селе один только жених с войны

вернулся. На меня не хватило. Потому я никого не рожала, внуков не имею. Так что и бабушкой зваться я не достойная. Меня обычно тетей Лидой кличут». Так с тех пор ее и звали в поселке — тетя Лида.

К ней, в первую неделю ее обитания в Приморском переулке, влетел однажды Витька Огурец, пятнадцатилетний пацан с быстрым цепким взглядом почти белых на загорелой физиономии глаз. Мельком глянув на тетю Лиду, он стал бегать по комнате, все трогая и непрерывно задавая вопросы, на которые и не ждал ответа: «А это вы привезли? А это для чего? А там у вас что?» Тетя Лида с молчаливым негодованием наблюдала его кружение по комнате. Потом вдруг стальным, грозным голосом крикнула ему: «Это что еще за диво?! Ишь, разбежался! Ты кто таков? А ну, кыш! Кыш, говорю!» и схватила в руки веник. Витька тут же исчез. Потом тетя Лида долго выговаривала свое возмущение Жорику: «Это ж не парень! Это ж понырок какой-то! Так и шасть: туды! сюды! И все цапает. Не-ет, говорю тебе, такой плохо кончит. По кривой дорожке пойдет. Еще и в тюрьму угодит. Попомни мое слово!» Тетя Лида не ошиблась. Года через три-четыре, Понырок, освоившись с городской шпаной, на самом деле загремел в тюрьму.

Многих можно вспомнить из этого, ушедшего в небытие поселка. Галюню, незабвенную Галюню, жену Федьки-таксиста, рано состарившуюся, кроткую, без памяти любившую своего развеселого гулену-мужа. Федька каждый месяц уезжал в командировки. Какие командировки у таксиста? Весь поселок знал, что его «командировка» живет в тридцати километрах от города, и преподает там в младших классах. Одна Галюня не знала. И знать не желала. Когда Федька, окончательно обнаглел и привез свою «командировку» в свой дом, сказав Галюне: «Я женился! Так что изволь уважать!», Галюня, поплавав, смирилась и говорила даже: «Ну что уж! Вон какая она кралечка! А я... уж выстарелась, куда уж Федичке со мной!» Все дивились, поражались. Потом привыкли. А Галюня готовила, стирала на «молодых» и продолжала молиться на своего Федичку...

Можно вспомнить Манечку и Данечку, сестер-близняшек, безумная любовь которых друг к другу и ревность к некоему Стасику из далекого прошлого выливались в столь же безумные скандалы, в которых принимала участие масса зрителей. Кончалось все всегда по одному сценарию: Манечка шла вешаться на старую грушу, а Данечка, рыдая, бежала топиться в море. Тут зрители приходили в себя и начинали спасать и мирить несчастных сестер. А потом те сладко и вдоволь ревели на плече друг у друга.

Многих можно было бы еще вспомнить. Но нет уже их там, как и нет их теплых обжитых домишек и всей этой доброй, порой бесшабашной, проникнутой сочным южным юмором, жизни. Теперь на их месте бетонированная набережная, над которой высятся одинаковые корпуса с балконами-верандами, с бассейнами и загороженными пляжами. Словом, все, как и положено в курортной зоне...

4. Прощальный ужин

Шли месяцы после рокового сообщения Алкаша, но ничего не происходило. Мысль о том, что придется разъезжаться, оставлять насиженное место, друзей, отвыкать от шума моря у порога, постепенно стала терять свою остроту. И все чаще стала появляться другая, которой хотелось верить: Алкаш что-то напутал. И на старуху бывает проруха. Но время подтвердило, что Алкаш слов на ветер не бросает и уж если говорит, то всегда точно. Как-то вдруг стали появляться незнакомые фигуры, зачастили всякие солидные люди. Потом появились геодезисты и еще какие-то спецы со своими инструментами. Стало ясно: дело делается и от переезда никуда не денешься.

Первыми получили ордер Милоновы. Николай Иванович, известный актер, лю-

бимец города, получил квартиру в старом фонде, на Каштановой улице, недалеко от театра. Дом с кариатидами, большая двухкомнатная квартира с высокими потолками, большими окнами, с лепкой на потолке произвела на брата впечатление дворца. Сами Николая и Татьяна такого восторга не испытывали. Они повидали множество квартир, работая в разных театрах, и им было жаль родового гнезда, своего уютного домика на берегу вечно вздыхающего моря. Но улица, бульвар, заросший огромными каштанами, которые как гигантские паникадила украшались весной бело-розовыми свечами цветов и заливали окрестности нежнейшим, терпким ароматом — все это пленило Татьяну, и она примирилась с необходимостью переезда.

Начались хлопоты, неизбежные при таком грандиозном деле. Все потихоньку перевозилось, дом обнажался. Но вот все уже собрано, осталось только погрузить последние вещи и переезжать.

Наступил вечер, которого боялись, к которому готовились. Было ясно всем, что их такое теплое, такое родное, близкое содружество уходит: рвутся кровеносные сосуды, жилочки понятных недомолвок, полунамеков, взглядов, ловимых налету. Как из проколото шарика, уходил теплый воздух, аромат почти ежедневных встреч. У каждого появятся новые соседи, знакомые и невозможно уже будет собираться по вечерам, съезжаясь с разных концов города...

С таким настроением все и собрались на последний ужин в дом Милоновых. Каждый, заходя, видел пустую комнату с огромным ободраным столом, срам внезапно обнажившихся пятнистых обоев и, так называемую, тахту — продавленный матрас, стоящий на кирпичках. Татьяна постаралась сделать все, чтобы утешить друзей. Из кухни неслись умопомрачительные запахи: пахло котлетами, ванилью и еще чем-то многообещающим. Вошла тетка Хасмик, неся что-то на огромном подносе. Она откинула полотенце, и все увидели долму. «Мой Хачик так любил долма-а-а», — пропела-простонала тетка Хасмик. Все принялись ее целовать, усаживать, но она категорически отказалась: «Нэт-нэт, ни за что! Побудти вмэсте... Я знаю, что это — разлука!» — и глаза ее увлажнились.

Ее приход усугубил то тягостное чувство, которое все пытались побороть. Хозяйка уже собиралась что-то сказать, как вдруг дверь распахнулась и на пороге показался запыхавшийся и слегка встрепанный Иванов. Вид его был необычен. В руках он держал какой-то куль из газеты. Окинув компанию взглядом, он буркнул «я сейчас» и скрылся на веранде. Послышалось какое-то звяканье, звон стеклянной посуды и затем вновь появился Иванов. Он шел торжественно, неся в вытянутой руке бутылку из-под кефира, из нее свисали три пышные, перезрелые розы аляповатого сиреневого цвета, распространявшие густой аромат дешевой парикмахерской. Иванов прошел к столу и поставил розы перед Татьяной. «Спасибо, Левочка! Какие красавицы!» — нежно пропела она, незаметно послав Штифту угрожающий взгляд. Тот смиренно потушил глаза, полные смеха. «У нас в Кенигсберге — это потом он стал называться Калининградом, росли в саду такие розы, — сказала Татьяна, — они от немцев остались. Мама их называла центифольными, т.е. столепестковыми. Они очень хороши, когда расцветают». Иванов сидел растроганный. Та, которой он предназначал дар, оценила его. Татьяна покопалась в одной из сумок и достала изящную вазочку дымчатого стекла, со спиральными нежно-сиреневыми полосами. Она переставила розы из бутылки, и они на глазах у всех как бы приободрились и смотрелись уже вполне прилично.

...«Пора накрывать, мальчики! — скомандовала, наконец, Татьяна, — все готово! Впрягайтесь, помогайте нести на стол».

Мальчики впряглись, и скоро стол был заставлен. Появилось вино. И закипел пир.

— Минуту внимания! — сказал Штифт, вставая, и постучал вилкой по бутылке. Все уставились на него в немом ожидании.

— Вот так, хорошо! — и достал из кармана листок бумаги, — тут вчера, вернее,

сегодня ночью, влетел в форточку Пегасик. Нахулиганничал и улетел. А я, бедняга, ночь не спал. Вот, накропал кое-что по случаю. Прошу снисходительно выслушать.

— Давай, давай! — крикнул Николай. И Штифт стал читать:

Я пью вино. Но не боюсь вина.

Меня пьянит вино иное:

Какая-то неясная вина,

Она лишит меня покоя.

Не Каин я. Но рая я лишен.

Не Авель я, но в жертву приносимый.

Меня сверлит вопрос невыносимый:

В чем сила наступающих времен?

Печаль пьянит. Но есть ли в ней вино?

Смешалось все. И, чашу пригубляя,

Понять не в силах. Чувствую: оно —

Скользкий блик утраченного рая.

— Ну, это ты, брат, загнул,— протянул недовольно Леонтий,— что-то уж слишком заумно!

— Да, конечно, на слух это сложно воспринимается, это лучше читать глазами,— согласился Штифт.

— Не слушай его, Штифт,— пробурчал Алкаш,— давай дальше!

— Идет, сказал Финдлей! — ответил Штифт и продолжил:

Мои друзья беспечно веселы,

И юмор их — невинного посла.

Кипит шампанское острот веселых,

И сдвинуты стаканы и столы.

И сдвинуты основы бытия...

Вот проступают контуры программы.

Но, не взирая ни на что, упрямо

Летит, ныряя, дружества ладья.

Куда летит?

Не видно маяка...

Штифт умолк. Все молчали, не сразу поняв, что чтение закончено и вопрос в его конце, это вопрос, обращенный к жизни каждого из них. Молчание начало сгущаться.

Татьяна подошла к Штифту, легонько провела рукой по его губам и сказала: «Ты бы, голубчик, лучше приготовил нам суфле!» Штифт онемел. Несколько секунд он ошарашено смотрел на Татьяну. Потом глаза его изумленно распахнулись, и он гулко расхохотался. Смех его потонул в общем хохоте. «Ну, Таня, Таня! — простонал он сквозь смех.— Ну можно ли тебя не любить!» А Алкаш надулся и обиженно уткнулся в тарелку.

Фраза Татьяны, развеявшая напряжение, имела за собой замечательную историю. И касалась она именно Алкаша.

Алкаш был не просто закоренелым холостяком. Казалось, он вообще не замечает существования второй половины человечества. Работа у него была напряженная, бегучая — он был настоящий профи. Фотокорреспондент. Дома у него была пожилая, больная мать и Викушка, сестренка, тринадцатилетняя инвалидка с ДЦП, невзирая на который, она была веселым, жизнерадостным существом. Алкаш был для них всем: и

поваром, и нянкой, и медбратом. Он был предельно занят, и ему было просто некогда оглядываться по сторонам. Так и принято было компанией: Алкаш любит маму, Викушку и Татьянин квас.

Но однажды он всех поразил. Смущенно надувая щеки, закашывая виновато глазом, он ввел в дом Милоновых весьма очаровательную девицу с яркими глазками, глянцевой шапочкой стриженных стрижкой «каре» волос и ослепительной улыбкой, открывающей все ее белоснежные, крепенькие зубки. «Это Катя»,— буркнул он себе под нос и тот час же уткнулся в газетку. А Катя тут же начала со всеми общаться. Она стрекотала непрерывно, восхищаясь всем подряд. Она была юна, прелестна и как-то вполне здорово невежественна. Когда очередь дошла до Штифта, он, дружески улыбнулся и пророкотал: «Завинти фонтан, детка, а то я уже захлебываюсь. Ты лучше сублимируй». Это было любимое словцо компании, начитавшейся Фрейда. В строгом смысле оно обозначало всего лишь перевод сексуальной энергии в творческую. Но компания наполнила его всевозможными тонкими смыслами. Катя, услышав незнакомое слово, растерянно захлопала лохматыми ресницами, копаясь в своем небольшом словарном запасе, и вдруг вспомнила что-то кулинарное. Лицо ее прояснилось и она произнесла свою сакраментальную фразу: «Вы имеете в виду... то есть, вы хотите, чтобы я приготовила суфле?» Штифт, как истинный кавалер, задавив в себе рвущийся приступ смеха, закивал головой и промышчал, что именно этого он ждет от такой прелестной девушки. Катя, почувствовав какой-то подвох, оглянулась по сторонам, но все уже имели нормальные лица. Только ее кавалер сидел красный, как рак. Тут Татьяна подхватила ее под руку и увела ее на кухню. Больше она в этом доме не появлялась. И компания решила, что Алкаш образумился.

Но разведка доносила, что это не так. То ли юная Катя была довольно цепкой девушкой, то ли Алкаш оказался беззащитным перед ее свежим, парным, здоровым обаянием, только несколько раз разные люди видели их вместе. А однажды Николай нос к носу столкнулся с ними на базаре. Но Алкаш его «не узнал» и быстро дернув свою подругу за рукав, скрылся в толпе. Однако, распахнулись лохматые ресницы, сверкнула белозубая улыбка: ошибиться было невозможно. «Крепко, видно, скрутила Аркашку эта молодая девка!» — сказал вечером Николай Татьяне. Татьяна помолчала, подумала, а потом сказала: «А что ж, может Аркаше именно такую и нужно? А то, что смогут эти нынешние, сложные да тонкие, в его доме, с Викушкой и еле живой мамой?»

Пир был на славу. Котлеты, фаршированные помидоры и перцы, долма исчезали с завидной скоростью.

«Да-а-а, господа,— важно протянул Штифт,— а медицина, кажется, права». Все посмотрели на него с недоумением. Один Леонтий, наваливший себе на тарелку груду перцев, не обращал внимания на столь многозначительное заявление. Его принцип не отвлекаться от хорошей еды ради очередного зубоскальства, оставался нерушим. «Так вот,— продолжил Штифт,— медики утверждают, что самые толстые люди — это люди, страдающие хронической гипертонией или подверженные частым приступам уныния» Он обвел присутствующих профессорским взглядом и замолчал. «Поясни»,— буркнул Алкаш сквозь котлету. «Поясняю,— методично продолжил Штифт.— Никакие медикаментозные средства не могут так быстро изменить настроение страждущих, как вкусная и красивая еда. Потому несчастные без конца жуют, находя опору при своих переживаниях в еде. Я кончил, господа»,— сказал Штифт и отправил в рот кусок селедки. «Так вот почему ты такой тощий,— проворчал Леонтий,— ты, видать, парень из железобетона, никогда не переживаешь. Вот и не жрешь ни хрена!» Штифт улыбнулся и сказал: «Сэр! Вы как всегда — в точку».

Один человек не принимал участия ни в еде, ни в разговорах. Это был Джан-Большой Мандо. Он сидел одиноко в торце стола, высаясь над ним как гора. Еда на тарелке ос-

тавалась нетронутой. Он молча слушал всех, переводя свои детские глаза с одного лица на другого. Вдруг он услышал свое имя и, как бы вынырнув из немоты, спросил: «Что?» «Да вот, я говорю,— обратился к нему Николай,— что ты, Джан-Коль, являешь собой парадокс». «Это как?» — не понял Джан-Коль. «Очень просто,— продолжил с улыбкой Николай,— по теории уважаемого Штифта, мы все тут — страдальцы. Потому и налегаем на еду. А ты один среди всех бесчувственный, потому и не ешь! Хотя и толстый!» Коль-Мандо смотрел на говорящего вначале как бы ничего не понимая, но постепенно смысл шутки дошел до него. Татьяна толкнула Николая локтем в бок, но было уже поздно? Бровки на лице у Коля поползли вверх, рот открылся, и все лицо вдруг приняло такую страдальческую, детскую мину, что всем стало не до смеха. «Я? Я не переживаю? Да? Да я!..» — и, не договорив, он полез из-за стола, сокрушив свое необъятное кресло и свалив тарелку с едой. Татьяна бросилась к нему: «Коля! Колечка! Милый ты мой! Да ведь это шутки все! Ты же знаешь этих дурачков — они умрут, если не пошутят! Не обращай внимания на них, ведь все тебя так любят! И ты любишь нас всех! Знаю!» Она еще что-то говорила, уводя расстроенного Джан-Боля на веранду. В дверях она обернулась, укоризненно покачав головой, и покрутила пальцем у виска. Николай сидел сконфуженный и пытался еще что-то сказать в свое оправдание. Но внезапно подскочивший к нему Алкаш не дал ему даже закончить фразу. Обычно молчаливый (он больше любил не говорить, а слушать), сейчас он будто с цепи сорвался. «Вы! — кричал он в лицо Николаю, но явно имел в виду не одного его.— Вы тут все слишком гениальные! Слишком! Каждый занят своей персоной! Преимущественно!» «Аркаша, Аркаша, ты что? Что с тобой?» — закричали сразу несколько голосов, но он не унимался. «Заговорила Валамова ослица», — пробурчал себе под нос Леонтий. «И ты туда же! — накинулся на него Алкаш.— Вы все, все! О себе что-то думаете! Один нечего не думает, не мнит. Один! И того умудрились обидеть!» «Аркаша, успокойся», — заговорила Татьяна, обнимая его за плечи. «Таня, Таня! Ведь он, как ребенок! Один среди нас... доверчивый, чистый!» «Ну конечно! Но ведь никто и не думал его обижать!» «Никто! Шутить надо с умом! Надо мной шутите, пожалуйста! Над Штифтом, над...» Тут уже Николай не выдержал и ринулся к Алкашу так решительно, что Татьяна, всплеснув руками, закричала: «Ребята! Вы еще подеритесь на прощанье!» И нервно схватив сигарету, стала изо всех сил чиркать спичкой. Спичка не загоралась. В тот же миг, неторопливо, спокойно поднявшись, подошел Иванов и стал между Николаем и Алкашом. «Я прошу,— тихо сказал он,— прошу очень — пре-кра-тите!» Он был на голову ниже обоих, но лицо его, взгляд излучали какую-то последнюю решимость. Он повернулся к Татьяне и ласково взглянул на нее. «Танечка так старалась! А вы!» Алкаш махнул рукой и сел к столу, к недоеденным котлетам. «А что вы все на меня! — продолжал кипеть Николай, которому всегда было трудно выходить из «завода», — будто я один!» И тут раздался тихий, протяжный, бархатный звук. Все резко повернулось на голос. Это пел Леонтий. Тихо пел, закрыв глаза. Во время перепалки он успел принять свою любимую позу, отстранявшую его от всего: от шума, болтовни и, тем более — от скандала. Он лежал на продавленной кушетке, закинув руки за голову и пел заунывную, полную сиротства и невысказанной горечи песню из давнего телевизионного фильма, из «Бумбараша»:

Ходят ко-оо-ни над реко-оо-ю...

Просят ко-оо-ни водопою...

А-а-а...

К речке не иду-у-т...

Видно берег кру-у-т...

Леонтий пел чуть слышно, он весь был в этой скорбной, смиренной песне.

*Ни ложбино-очки глу-убо-оокой...
Ни тропино-очки у-убо-оогой...
А-а-а...
Как же коням бы-ыть...
Кони хочут пи-и-ить...*

Раздражение, нервозность, растерянность, все, что так долго копилось и вылилось, наконец, в безобразную скандальную вспышку, улетучилось, исчезло от этой тихой песни. Люди снова стали людьми. Татьяна присела в ногах Леонтия, обхватив колена руками и начала тонко вплетать высокий, завитой подголосок.

*Вот и пры-ы-ыгну-ул конь була-а-аны-ый...
С этой кру-уучи-и-и...окая-а-аноо-ой...
А-а-а-а!..
Синяя река-а-а...
Больно глубоко-ока-а-а...*

Песня наливалась, заполняла комнату, витала добрым духом над разоренным столом, тихой бабочкой залетала в человеческие души и, не смотря на свою скорбность, рождая в них тишину и покой. Потом пели все подряд: песни романсы. Пели «Гори, гори, моя звезда», «Не пробуждай воспоминаний», пели песни народные.

«Пойди, приведи Коля» — тихонько шепнула Татьяна мужу. Он вышел. Джан-Коль сидел на веранде на табуретке, слишком маленькой для его широкого крабовидного тела... Он весь согнулся. В маленьких впадинках под глазами, образованных круглыми буграми его детских щек, стояли озерца слез. Вид у него был настолько жалкий, что сердце Николая дрогнуло. «Старик! — мягко заговорил он. — Ты что, на самом деле на меня сердисься?» Коль взглянул на него кротко и махнул рукой: «Нет-нет, — проговорил он сквозь заложенный нос, — что ты...» «Э-э, братец, — рассмотрел его Николай, — да ты зареван, как трехлетний бебешка! Разве можно так распускаться? Ты ж мужик!» «Да нет, это я так...просто вы так поете...» — фраза тоскливо оборвалась, но Николай как бы услышал ее продолжение: «...а я больше никогда уже не услышу...»

— Брось, Коль, — горячо заговорил Николай, — мы еще сто раз соберемся... еще попоем!

Коль помотал головой... Николай обнял его за плечи: «Ты это брось, дружище, брось! Конечно, тяжело все это... но жизнь-то еще не кончена! Правда, старина? Пойдем-ка лучше, попоем вместе. А?» «Ты иди, иди, Николай... Я потом...потом». Николай постоял еще минутку, посмотрел еще на Коля, затем, махнув рукой, повернулся и вошел в комнату. На вопросительный взгляд Татьяны он только пожал плечами. Она вздохнула.

— Что еще споем? — спросил Штифт.

— Окуджаву, — попросила Татьяна — Смоленскую дорогу.

*По Смоленской дороге леса, леса, леса.
Вдоль Смоленской дороги столбы, столбы, столбы...*

...Струны гитары тихо рокотали. Штифт обнимал гитару, как подругу.

*Над Смоленской дорогою, как твои глаза,
Две холодных звезды голубых моей судьбы...*

Алкаш, выходявший на улицу, вернулся со странным лицом. «Подойди тихонечко к дверям, посмотри», — шепнул он Татьяне. Она встала на пороге открытой двери и замерла! Под окошком стояла тихая, молчаливая толпа. Это были соседи. Сквозь белую ситцевую занавеску струился свет, струилась музыка... Люди слушали эту му-

зыку, не похожую на яркие, броские мелодии, разносящиеся летними вечерами из открытых окон

Голоса звучали тихо, нежно, печально. И вся толпа была сейчас как один человек, все ощущали одно, не выразимое словами, но ощущаемое всем сердцем — там, за этой белой занавеской отпеваются вся их общая жизнь. Отпеваются теплые вечера с бормотанием засыпающего моря, отпеваются общие, залихватски-веселые застолья, когда гулялись свадьбы или чьи-нибудь замечательные события, вроде рождения ребенка или проводов на пенсию. Уходили навсегда, не повторяются их шутки, веселые перебранки, соседские посиделки, когда ночь темна так, что не видно лица говорящего. И тепла, как мамины объятия...

Уходило все. И там, в милоновском доме, не просто пели. Там шла панихида, звучала прощальная, поминальная песнь...

*...Как возжеленно жаждет век
Нащупать брешь у нас в цепочке...*

Ах, как сладостно и горько пелись эти слова, как совпадали они с тяжелым словом их общей жизни!

*...Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке...*

— тихо, проникновенно звучало сквозь занавеску, чуть трепещущую от вечернего ветерка.

*Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!*

Дядя Толя-огурец сорвал с головы повываший виды блин кепочки и уткнулся в него костистым носом. Понырок, взглянув на него, растерянно всхлипнул...

Все уже разошлись, Татьяна мыла посуду, тихо позвякивая то ложкой, то блюдцем. Николай зашел на веранду, включил свет. В своем необъятном, заштопанном кресле сидел Коль-Мандо, положив лапы на подлокотники, опустив тяжелую кудрявую голову на грудь. При свете он вскинул голову, зажмурился. «Ты что же? — недоуменно спросил Николай. — Ты так и сидел тут все время? И кресло перенесли...» Джан-Коль не отвечал, только глядел на него и шишка носика, затерянного между щеками, опять начала наливаться красным. «Коль, Коль! Ты только не обижайся на меня, ладно?» Джан-Боль кивнул головой. «А хочешь, — Николай вдруг загорелся радостным вдохновением, — возьми себе что-нибудь на память. Вот, например, «Шоколадницу»! А-а! нет, не это! Слишком засижена мухами». И правда, все нежное, невинное личико и белый фартучек шоколадницы были усеяны неряшливыми, грязными точками. «Вот сволочи!» — зло прошипел Николай. И непонятно было к кому относилось это: то ли к мухам, испортившим картинку, то ли к кому-то еще, невидимо портящему и сокрушающему нашу жизнь. Николай повесил картинку обратно. «Вот! — воскликнул он довольно. — «Тройку» возьми! Повесишь дома — и у тебя тоже собачка бегать будет».

«...Собачка бегае! Собачка бегае!» — закричал однажды шестилетний соседский Пашка. Он долго разглядывал тройку деревенских ребятишек, натужно тащивших сани с бочонком. «Какая собачка?» — удивилась Татьяна. «Вот, вот она!» — заорал Пашка, и Татьяна действительно увидела, как в картинке Перова по нарисованному снегу бегала живая собачка. Это была муха, но эффект был поразительный. Но «собачка» вдруг взлетела и исчезла с картинки...

Николай снял «Тройку» и протянул Джан-Колью. «Не надо. Не надо мне!» Он по-

молчал, глядя на Николая круглыми, прозрачными глазами и тихо пробормотал: «Тройка-умройка... Собачка-задача...» Потом, горестно вздохнув, прошептал: «Нас всех вскорости... вот так снесут».

5. Жизнь продолжается

Милоновы обживались в новой квартире. Поначалу почти каждый день приходили гости, соседи по поселку. Но через месяц началось массовое выселение, и к ноябрю поселок был пуст. Все занялись освоением новых квартир, и поток посетителей постепенно иссяк. Да и собираться вместе стало уж очень трудно. Выходной в театре был по понедельникам, а в будни — то спектакли, то репетиции, дневные и вечерние. Когда жили рядом, можно было зайти и в девять, и в десять вечера. Теперь же эта свобода исключалась. Надо было договариваться.

Первое время Татьяна была поглощена обустройством жилья. Столовая выглядела прекрасно. Ее украшал большой полированный чешский стол темно-вишневого цвета, подаренный теткой Хасмик. Она покупала его к свадьбе сына и, отдавая его Милоновым, заметила, что в ее маленькой комнате он не уместится, да и будет только напоминать ей о горе.

К столу коллеги, скинувшись, прикупили шесть красивых стульев. Татьяна перетянула новой обивкой старые кресла, поставила на телевизор китайскую вазу с лиловым драконом и желтыми орхидеями — и стало красиво и уютно. Но истинным шедевром была кухня. На гастрольные переработки был куплен приятный кухонный гарнитурчик. И из голубого в белую полоску сатина Татьяна сделала скатерть, обшив ее шитьем, и такие же веселые занавески повесила на окошко. Кухня стала ее любимым местом.

Николай довольно легко перенес переезд. По вечерам квартира наполнялась его любимыми студийцами, которые гурьбой вваливались к Милоновым, принося с собой шум, азарт юности, смех и бесконечные споры. Татьяна почти не принимала участия в веселых застольях, она готовила и подавал чай, незаметно появляясь и уходя, но большей частью сидела на кухне, куря и почитывая какую-нибудь книжечку. Впервые за много лет она познала одиночество и поначалу, после стольких лет теплого дружелюбия, оно ее угнетало. Потом она привыкла и даже стала ценить его: одиночество располагало к размышлению. И постепенно она стала писать, но не стихи, а прозу. Писала, когда оставалась одна и тщательно скрывала это от мужа. Это были вначале маленькие зарисовки, которые со временем выстроились в интереснейший цикл рассказов под общим названием «Хроники снесенного поселка». Но пока, повторяем, это были лишь разрозненные наброски и зарисовки.

Однажды в дверь позвонили. У Татьяны было довольно паршивое настроение (привыкание ей давалось с трудом), и, идя к двери, она подумала: «Кого это несет в такую погоду!» За дверью стоял Иванов, весь промокший от дождя, со слипшимися космами кудрей и жалкой улыбкой. «Я... я, Танечка, хотел... Я пробовал, но вот... видишь, не выходит!» — несвязно забормотал он. Неожиданно для себя Татьяна страшно обрадовалась ему. «Левочка! Вот сюрприз! Как хорошо, что ты пришел. Ну, проходи же, проходи!» И она отступила в глубь прихожей. Увидев ее неподдельную радость, Иванов вспыхнул и засмеялся. «Ты правда рада, Танечка?» — чуть дрожащим голосом спросил он. «Ну конечно, конечно рада!» — засмеялась Татьяна в ответ. Потом она поняла причину своей необычной радости: Иванов был маленьким осколком утраченной жизни, наполненной теплотой, общностью взглядов, литературных пристрастий и прочим, что соединяет разных людей в сплоченный дружеский круг. И хоть Иванов в том кругу был чем-то вроде мебели, антуража в спектакле, он сумел стать привычным и даже необходимым. И сейчас это походило на то, как если

бы ребенок сломал и потерял свою игрушку, цветной kaleйдоскоп, и вдруг обнаружил в траве маленькую стекляшку из него, невзрачную и не очень яркую. Он непременно схватил бы эту стекляшку, зажал бы ее в ладошке и временами любовался бы на нее. С таким именно детским чувством и встретила Татьяна Иванова: он был именно той частью ее прежней жизни, которая никуда уже не денется от нее. И действительно, Иванов стал приходиться к Милоновым в каждый их свободный вечер. Николай встретил его с радостным удивлением, новая компания тоже скоро привыкла к нему и перестала замечать его присутствие. Но самыми драгоценными минутами были те, когда Татьяна тихонько звала его на кухню, и там они сидели и молча пили чай. И именно ему первому, к большому собственному удивлению, Татьяна прочитала законченные «Хроники снесенного поселка»...

Но вот поток посетителей окончательно иссяк. Изредка заглядывал Алкаш, еще менее разговорчивый. Да порой приходил с ними из театра Штифт, досиживая у них до своей ночной смены в кочегарке. Жизнь втянулась в будничное русло и прошлое постепенно уходило, утрачивая остроту боли. Тем удивительней был визит двух сестер, Манечки и Данечки. Они никогда раньше не общались с Милоновыми, хоть и жили довольно близко от них. Но, видно, тоска по прежней жизни не уходила от них, и в своей новой квартире они сидели, как в клетке.

Татьяна была поражена, когда, открыв дверь, увидела их, стоящих с бодрими, но несколько смущенными улыбками.

— Вот,— вместо «здрассте» проговорила Данечка,— пришли глянуть, как вы тут.

— Ничего, что пришли? — спросила Манечка.— А то вы, может, заняты?

— Проходите, девочки, проходите! — опомнилась Татьяна.— Очень хорошо! Я вот сижу тут одна... Коли нет, он на репетиции.

Пока раздевались, Манечка и Данечка наперебой рассказывали, какая у них кухня, какая ванная. «А туалет!» — Манечка закатила глаза. Татьянина кухня привела их в восторг. «Надо ж! За какие-то копейки, а как красиво!» «Ничего не скажешь, уютно!» Но в зале их восторги померкли — слишком хорошо, красиво было все вокруг: и стол, и кресла, и драконы на вазе. Сестры переглянулись и тоскливо вздохнули: у них в новой квартире вся обстановка была старая, ободранная. В хибарке это не было так заметно. Татьяна мгновенно уловила причину их уныния. «А я вам, девочки, на ваше новоселье подарок подарю!» — и, сняв с телевизора китайскую вазу, протянула ее им. Сорокалетние девочки вспыхнули от изумления:

— Что вы, что вы! — в один голос заверещали они.— Такую красивую! Такую дорогую!

— Берите, берите! — приказала Татьяна.

— А вам не жалко? — наивно спросила Манечка.

Татьяна засмеялась. И тут сестры преобразились, вернулись прежние Манечка и Данечка. Между ними разгорелся яростный спор: куда ставить красавицу-вазу? Одна говорила: «На телевизор!», другая кричала: «На этажерку!» Лица спорщиц побагровели, начинался их обычный скандал. «Девочки, девочки! — Татьяна со смехом обняла их за плечи.— Будет вам! Проще простого — бросьте жребий! А то из-за всякой ерунды ссориться! Вот заберу вазу!» — с шутливой угрозой добавила она. Манечка с Данечкой тут же пришли в себя: вазу терять не хотелось.

Потом сидели на кухне, пили чай. И сестры рассказали кучу новостей. Они, оказывается, знали все обо всех. Рассказали, что Федька-таксист привез в новую квартиру свою училку. И что она важно ходит с ним под ручку, а Галюня спит в кухне, на раскладушке. Тетку Хасмик они видят часто, она живет в соседнем доме и даже как-то побывала у них в гостях. «Представляете, невеста ее Хачика до сих пор ходит в трауре! Это уже пять лет! И чего она хочет?»

Постепенно разговор перешел на прозаические темы. Житье-бытье. Соседи. Се-

стры, в отличие от Татьяны, уже знали большую часть жильцов своего многоквартирного дома. Знали, по крайней мере, кто женат, кто нет, кто чем занимается. Внешне все обстояло довольно благополучно. Но лица их постепенно теряли первоначальную оживленность. «Скучаете, девочки?» — сочувственно спросила Татьяна. Они вздохнули. И тут Манечка внезапно заплакала. Данечка нахмурилась. «Вот! — проговорила она сердито. — Все ревет и ревет». «А ты?! — сквозь слезы вскинулась Манечка. — С тобой заревешь! Ей знаете чего не хватает? — обратилась она к Татьяне и, не дожидаясь встречного вопроса, сама ответила. — Груши ей не хватает, вот чего!» «Какой груши?» — не поняла Татьяна. «А чтоб вешаться, вот какой!» У Манечки тут же просохли слезы: «А ей! А ей! — закричала она, — моря не хватает! В ванне топиться не станешь! Больно мелко!» Татьяна не выдержала и засмеялась. Сестры уставились на нее с недоумением, переглянулись и тут же сами закатились хохотом. «Ничего, девочки, привыкнете! — вытирая выступившие от смеха слезы, сказала Татьяна. — Я тоже вначале сильно тосковала, а теперь — ничего!»

Они ушли, довольные своим визитом, унося драгоценный подарок и обсуждая по дороге, какая, все-таки, Татьяна Иванна хорошая женщина.

6. Джан-Коль

— Татьяна Ивановна, подойдите к телефону! — крикнула из коридора гримерша Леночка.

— А кто зовет? — спросила Татьяна.

— Да Иван Григорич!

Иван Григорьевич Шпак был особенной фигурой в театре. Вахтер — должность маленькая, но Иван Григорьевич сумел сделать так, что с ним считались. Он привнес в свою работу армейскую строгость и дисциплину. Бывший прапорщик никого не пропускал за кулисы, пока не выходил актер или другой служащий, к которому пришли. Просьбы по телефону — «пропустить» он игнорировал и поначалу было требовал от посетителей оставить «документ» на вахте. Ему пришлось разъяснять, что это не воинская часть и не арсенал, а всего лишь театр. С неудовольствием, но пришлось смириться, т.к. Иван Григорьевич не имел привычки оспаривать приказы начальства.

Татьяна взяла трубку: «Здравствуйте, Иван Григорьевич», — сказала она, хотя уже здоровалась с ним, придя в театр. Ее вежливость восхищала служаку Шпака, он почему-то видел в ней особое к себе благоволение. И потому, при разговоре с Татьяной, его солдафонский голос смягчался, насколько это было возможно.

— Здравия желаю, Татьяна Иванна, тут к тебе пришла одна, — многозначительно, как о некой только им известной тайне, доложил он.

— А кто?

— Не могу знать! — отчеканил он. — Но думается — сестрица ваша.

— Сестрица? — удивилась Татьяна. — Моя сестра в Гомеле! Или она назвалась вам?

— Никак нет, — слегка смущенно ответил Иван Григорьевич, — но... по наблюдениям сделал вывод.

— Какой вывод?

— Что сестрица это ваша. Такая ж беловидная. Как и вы сами.

— Беловидная?

— Ну да! Волос такой же как у вас, сильно белый.

— Ладно, — сказала Татьяна, поняв, что остальные переговоры — лишь трата времени, — сейчас иду.

Идя по коридору к вахте, она увидела незнакомую женщину в коричневом клетчатом платке, какой носят простые пожилые женщины. Но, подойдя ближе, с удив-

лением узнала в незнакомке Веронику, Верку-крикуху, жену Коль-Мандо. Татьяна поразилась происшедшей в ней перемене: лицо ее похудело, заострилось, взгляд обычно задорных, боевых глаз потух, под глазами темнели круги. И лишь одна непокорная прядь светлых льняных волос, все время выбиваясь из-под платка и норовя закрыть правый глаз, напоминала прежнюю Верку.

— Верочка, что с тобой? Что-нибудь случилось? — воскликнула Татьяна.

Верка покосилась на внимательно наблюдавшего Шпака.

— Ах, да! — спохватилась Татьяна.— Иван Григорьевич, мы пройдем ко мне.

Шпак пожал плечами и развел сухие ладони в знак того, что он бы и возражал, но не смеет.

Вошли в примерку, и Татьяна повернулась к Верке. «Ну!» — сказала она. Верка, коротко глянув на нее, опустила голову. «Коль запил», — почти шепотом сказала она. Татьяна не поняла: «Кто, кто запил?» «Коля... мой Коля», — с трудом проговорила Верка. Татьяна ошеломленно молчала, не зная, что сказать, что вообще можно сказать после такого известия. Пока мысль ее лихорадочно крутилась, Верка заговорила сама.

Как известно, они с Кодем получили ордер последними. И целый месяц жили в мертвом, разоренном поселке, наблюдая последние разрушительные работы. Вернее, наблюдал один Коль, а Верка, работавшая до шести, приходя, видела только очередную грудку досок, кирпича и прочего хлама, обозначающую бывшее жилище и мутные облака пыли. Коль-Мандо почти перестал есть и однажды, когда они уже переехали, вернувшись с работы, Верка обнаружила на столе стакан и недопитую бутылку водки. По привычке она закричала, но Коль даже не взглянул на нее. Он сидел опустив голову, как большая гора ветоши, и ничто не говорило о каком-либо намеке на продолжающуюся в нем жизнь. Верка сразу поняла, что случилась настоящая беда. Она сменила тон, говорила с ним ласково, даже просительно. Как малого ребенка уговаривала. Но бесполезно...

Коль имел группу и мог вообще не работать. На убеждения Верки, что работа его отвлечет, утешит, что за него, с его золотыми руками, ухватится любой гараж, любой таксопарк, он ничего не отвечал и продолжал пить. Он пил уже месяц. Ничего не делал плохого, не дебоширил, не скандалил — просто пил и молчал. Верка пришла в отчаяние.

— Я пришла к вам, — дрожащим голосом заговорила она, обращаясь к Татьяне, — потому что он вас так уважает! — она заплакала. Татьяна молчала

— Вы... вы ведь поможете?! — проговорила Верка сквозь слезы. Нос у нее заложил и вид был такой жалкий, что Татьяна, шагнув к ней, схватила за плечи и прижала крепко к своей груди. Верка разрыдалась уже по-настоящему. Там, дома, она не позволяла себе плакать, расслабляться. Но сейчас, в этих теплых, почти материнских объятиях, она не выдержала и слезы полились бурно, будто прорвав плотину. «Верочка, ну не убивайся так, — шептала Татьяна, целуя ее в макушку сквозь коричневый платок, — мы что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем! Это все пройдет!» Верка судорожно кивала, елозя лбом по Татьяниной груди. Татьяна не знала, что можно предложить. И вдруг, как молния, прорезала поток ее соображений радостная мысль: Сафоныч! Сафоныч! Ведь он через три месяца уходит на пенсию (Сафоныч был механиком в театральном гараже).

Отстранив от себя Верку и держа ее за плечи, она весело глянула в ее заплаканное лицо. Верка замерла, широко раскрыв покрасневшие от слез глаза.

— Вера! Вероника! — почти торжественно воскликнула Татьяна.— У меня есть идея!

Верка смотрела на нее, не отрываясь, и вся напряглась.

— Что? — спросила она одними губами.

— Потерпи недельку, — сказала Татьяна, — тут надо кое-что решить не от меня

зависящее, Но ты не беспокойся, ты жди! — быстро проговорила она, увидев, как потухает загоревшийся было надеждой Веркин взгляд, — Я не позже, как через неделю, приеду к вам. А пока терпи.

Когда Верка уже вышла за вахту (Иван Григорьевич аж вытянулся ищейкой при виде ее заплаканного лица), Татьяна крикнула ей вдогонку: «Передай мой привет Колю! Обязательно передай!»

Вечером она рассказала все Николаю. Он вначале не понял, потом возмутился:

— Как это он запил? Ведь он же никогда и капли в рот не брал!

— Ну и что? Чего ты так шумишь? — спокойно спросила Татьяна. — Или не знаешь, как пьют?

— На что ты намекаешь! — вскипел Николай. — Ну, пил я раньше! И что? Это совсем разные вещи!

— Почему? — так же спокойно спросила она.

— Как почему? Я же пил с юных лет. И пил лет двадцать! А Коль? Он же никогда не пил! Ему, кажется, и нельзя.

— Ну да, нельзя. Но ведь всякий человек может запить. С горя.

— С какого такого горя! Они квартиру получили... переехали, я знаю. Мне Федька говорил. И что тут пить?

Татьяна подошла к нему вплотную, взяла за плечи и вкрадчиво сказала:

— Колечка, милый! Я знаю, что ты великий артист. Но хоть иногда, хоть в редких случаях, надо же уметь выходить из своей скорлупы! Надо же чувствовать, какие проблемы встают иногда перед другими людьми!

Николай слушал ее, нахмурившись: это тон был ему знаком. В любую минуту он мог смениться на совершенно ледяной, бесстрастный, чего он категорически не переносил. Но Татьяна вдруг оживилась.

— Представь, — сказала она, — что тебе пришлось бы играть в какой-нибудь пьесе роль такого человека, как Коль. О-о-о! тогда бы ты его очень хорошо понял, нашел бы массу красок, массу оправданий его запою!

Николай смутился. Как всегда, она была права. Он вечно пребывал в некоем отстранении от повседневности, работа его поглощала всего. И в каждом отдельном периоде он, даже не замечая, продолжал жить с очередным персонажем, совершая некую «сыскную» работу, которая затем вдруг складывалась в точное знание о данном человеке, знание «изнутри». И выходила очередная блистательная роль, очередной глубокий, надолго запоминавшийся, образ.

— Ну и что? Что тут можно сделать? — хмуро, пряча смущение, спросил он.

— Как что? — воскликнула Татьяна. — Ведь через три месяца у нас место механика будет свободно!

— Да? А Сафоныч?

— Ох, Коля! Да спустись ты на землю — весь театр знает, что Сафоныч, наконец, уходит на пенсию! И ты знаешь. Я говорила тебе.

— Да-а? И что? Ведь это — три месяца! Коль совсем сопьется с непривычки. Или заболает.

— Нет! Никаких трех месяцев! Надо, чтобы он сразу вышел на работу.

— Как это — сразу? — не понял Николай. — А Сафоныч?

— Я уже все продумала. Ему надо сказать, что берем, мол, стажера. Чтобы он ввел его в курс дела... ну, скажем, в специфику театральной работы. А Коль... я его хорошо знаю, он с радостью пойдет, даже бесплатно. Лишь бы быть в старом своем кругу. Ведь тут — мы. И Штифт.

Николай слушал молча. Все, что она говорила, звучало убедительно, но...

— А кто же это скажет Сафонычу? Ведь не мы же? Все решает Никольский.

— Вот ты и пойдешь к нему и попросишь за Коля, — медленно и твердо прогово-

рила Татьяна. Она знала, как Николай не любит что-либо просить у директора. Он все эти годы подозревал Никольского в чрезмерной симпатии к своей жене. И не без основания, хотя Татьяна никогда не давала повода для подобных подозрений.

— Да, Колечка,— еще тверже и спокойней произнесла она,— ты пойдешь, объяснишь, какой Коль уникальный специалист. И скажешь Никольскому, что мы оба просим за него.

Татьяна пристально смотрела ему в глаза. Николая задела ее последняя фраза, он надулся и замолчал. Но Татьяна обняла его, провела рукой по щеке и ласково глянув своими прозрачными, в черной кайме густо накрашенных ресниц, глазами, нежно пропела: «До чего ж ты у меня добрый, справедливый человек, Колечка!» Николай сделал строгую мину, чтобы скрыть свою капитуляцию и произнес небрежно: «Ладно, чего там! Схожу. Поговорю».

Татьяна поднялась на четвертый этаж обшарпанной хрущевки, подошла к двери с номером 65, постояла и, перекрестившись, нажала на звонок. Открыла Вероника. При виде Татьяны глаза ее вспыхнули.

— Долго искали нас, Татьяна Ивановна? — спросила она дрогнувшим голосом.

— Нет, я этот район хорошо знаю. Здесь жила одна наша актриса.

— Проходите, пожалуйста. Только он...— и Верка замолчала.

— Ничего,— сказала Татьяна,— я думаю, он со мною будет разговаривать,— и она прошла в комнату.

Коль сидел за столом, опустив свою лохматую, нечесаную голову на руки и, казалось, дремал.

— Он не спит,— сказала Верка и позвала: — Коль, Колюшка, к нам пришли. Слышишь? Посмотри! Посмотри, кто пришел.

Коль не пошевелился. Верка с отчаянием взглянула на Татьяну. Та кивнула ей ободряюще и подошла к Колью Она положила руку ему на плечо и тихо позвала: «Колечка, это я, Татьяна. Посмотри на меня!»

Темный осевший «сугроб» какое-то время пребывал в неподвижности. Потом в нем началось медленное шевеление, темная кудрявая голова приподнялась над сложенными кулаками, и на Татьяну глянул круглый глаз, полный страха и недоверия. Затем голова снова упала на лапы, но зашевелилась, задвигалась могучая спина. Татьяна ласково провела по спине и снова тихо позвала. Наконец, Коль поднял голову и уставился на Татьяну совершенно бессмысленным взглядом. Она молча кивнула ему. Выражение круглых прозрачных глаз стало меняться. Они широко раскрылись и в них было все: и ужас, и удивление, и какая-то непонятная робость. Не отрываясь, смотрел он на Татьяну. Лицо его стало розоветь, постепенно наливаясь краской. Он снова уткнулся головой в ладони, и спина его судорожно затряслась. Верка зажала рот и отвернулась.

— Колечка, Колечка,— зашептала Татьяна, обнимая его широченную спину,— не плачь, я так хорошо тебя понимаю! Не знаю, что со мной бы было, окажись я на твоём месте.

Коль схватил ее руку и прижался к ней мокрым лбом.

— Ты знаешь, я давно хотела прийти к тебе, но... А сейчас у меня для тебя хорошие вести.

Коль поднял заплаканное лицо и вопросительно глянул на нее. И тут только Татьяна увидела, как он переменялся. Кожа на его круглых некогда щеках висела мешками, как у восьмидесятилетнего старика, глаза провалились в глубокие впадины. Вид был совершенно жалкий. «Если он в таком виде придет к нам, Никольский даже разговаривать с ним не станет»,— подумала Татьяна и сказала:

— Только тебе надо немножко поправиться. Отъесться, прийти в нормальный вид.

— Для чего? — спросил Коль. Голос у него был глухой, хриплый.

— А как же ты придешь к нам в таком виде? От тебя все разбегутся со страхом! — весело проговорила Татьяна.

— Кто это — все? И куда я приду?

— Как куда? К нам, в театр. На работу!

Коль вытарашил глаза, рот его приоткрылся.

— Да, Колечка! — бодро продолжала Татьяна.— Тебя берут к нам на работу! Наш механик уходит на пенсию. Ты понял?

Коль кивнул, все еще не закрывая рта.

— Будем все вместе, я, Николай Иванович, ты. Да, и Штифт ведь у нас работает, ты ведь знаешь?

Коль молча кивнул. Розовая краска вновь стала заливать его лицо, глаза расширились, в них возвращалась жизнь...

Потом они сидели, пили чай и Коль рассказывал:

— Там была хоть какая-то жизнь. Она на работу уходила, а я открывал дверь и смотрел — последние наши дома сносили, Бум-бум-бум! грохот, тучи пыли... И мат. Вперемешку! Потом все кончилось. И они ушли... Да, как-то ко мне явился один, видно начальничек. И тоже матом: «Ах ты, такой-рассякой! Да мы тебя вместе с твоей лачугой несем!» Я ему говорю что, мол, некуда пока съезжать. А он не слушает, орет. Поорал, поматерился, плюнул на пол. И ушел.

Коль замолчал. Татьяна слушала с удивлением — она никогда не слыхала от Колья таких длинных речей. Верка под села к мужу и положила голову ему на плечо. И тут только Татьяна поняла, как эта маленькая, казавшаяся вздорной, женщина любила своего мужа. Какой она была ему опорой. Но когда это большое, чистое дитя столкнулось с безликой и от того еще более лютой жестокостью, Верка ничего не могла уже поделать, она ведь на целый день уходила. И Коль оставался один на один с миром, повернувшимся к нему внезапно злой, оскаленной рожей. Весь его прежний мир рухнул. Все, что составляло прочный фундамент его жизни, было отнято.

— А потом однажды пришла коза,— продолжил Коль свой рассказ.

— Коза? — встрепенулась Верка.— Какая коза? Ты мне не говорил!

— А помнишь, у Кузнечихи коза пропала, Гашка? Помнишь? Кузнечиха покупателя нашла, уже сговорились. Он приехал, а Гашки нет.

— Да-да, помню! Он еще ругался сильно, ехал все-таки десять километров, бензин тратил.

— Да, а Кузнечиха плюнула и дала ему двадцатку. Вот эта Гашка и приходила ко мне. Первый раз стала на пороге и говорит: «Ме-е!» Я ей хлеба дал. С солью. Так она стала ко мне каждый день ходить. Как по часам, ровно в двенадцать. А последние дни, так даже в комнату заходила.

— То-то,— всплеснула руками Веерка,— я «горошки» выметала! И все не могла понять: откуда они тут взялись!

Коль улыбнулся и его страшное лицо смягчилось. Потом он снова помрачнел.

— Колечка,— осторожно заговорила Татьяна,— а когда же ты начал...

— Пить, что ли? — подхватил Коль ее недосказанную мысль и махнул рукой: А-а-а! Я уж говорил, что там все же какая-то жизнь была. А уж когда Гашка появилась!..— глаза его наполнились слезами. Он снова замолчал. Верка, прижавшись к его плечу, молча гладила его спину.

— Вот когда я в этот гроб попал... тогда и запил,— мрачно проговорил, наконец, Коль.

— Гроб? Это ты о чем, Колечка? — спросила Татьяна.

— Да вот этот... гроб,— и Коль обвел рукой комнату.

— Она уйдет, а я сижу тут один и знаю, что никто уже ко мне не придет... Даже Гашка. И так тошно... А потом мысль появилась: вот, сейчас дверь откроется и войдет моя смерть. Войдет и скажет мне: «Ме-е-е!»

Татьяна вздрогнула, а Верка, отстранившись от мужа, глянула с ужасом ему в глаза. Он молча притянул ее к себе.

— Вот тогда я и пить начал...Только не помогало. Я совсем не пьянею... Все так и продолжалось: сижу, пью и на дверь смотрю.

Верка заплакала. «Колюшка, что ж ты мне-то ничего не говорил! А я!..» И она принялась целовать лицо мужа, его впалые виски, повисшие щеки. Татьяна крепилась изо всех сил, но не выдержала. Тушь ее поплыла и попала в глаза. Вытирая глаза платком, она стала утешать всех и себя в том числе. Когда все успокоились, она сказала: — Коля, признаться, ты меня просто поразил. И не только своим жутким рассказом, а... Ты знаешь, я и предположить не могла, что ты вообще... разговариваешь!

Сказала и засмеялась сама от той глупости, что получилась у нее. Но Верка поняла ее прекрасно.

— Что вы, Татьяна Ивановна! — оживленно воскликнула она, радуясь возможности переменить разговор.— Вы и не знаете, какой Колик был разговорчивый, веселый мальчик! Да он у нас в классе был самый хорошенький! Помнишь, Колик, как мы с тобой в пьесе играли?

Коль оживленно затряс головой.

— В пьесе? — удивилась Татьяна.

— Да! У нас на Пушкинские дни всегда ставили какой-нибудь отрывок. Ох, как я хотела Татьяну играть, когда Кольке дали Онегина! Но! Татьяну играла Фирка. Красавица, такие вот глазищи и коса черная до коленок. А мне пришлось Ольгу играть. А Ленский, Ленский, помнишь, Колик? Витька рыжий играл. Шестаков. Противный такой! — и она засмеялась.— А как я Кольку ревновала!

— Так вы со школы знакомы? — спросила Татьяна.

— Со школы,— улыбнулся Коль,— она к нам в третьем классе пришла. Я ее сразу заметил: носик остренький, голова пушистая, белая. Прямо морская свинка!

— Сам ты свинка! — воскликнула Верка.— Свинки пушистыми не бывают.

Потом, повернувшись к Татьяне, проговорила уже серьезно: — Он знаете, когда изменился? Когда заболел. В седьмом классе. Да, Коль?

— В восьмом.

— Да, в восьмом. Тут эта болезнь и вылезла. Она наследственная. Только у него ни мама, ни папа не болели. Я на всю жизнь одно слово запомнила: «пубертатный» период. Так врачиха сказала,— и она повторила по слогам: «пу-бер-татный»!

— Это что значит? — не поняла Татьяна.

— Это значит, переломный. Организм слабеет и болезни вылезают... Ну, тут и началось: жир-трест-мясокомбинат! И все такое... Вот тогда Коль и замолчал... А мне он и такой был мил! — сказала Верка и прижалась опять к его плечу.

7. Жить можно...

— Съездим к Милоновым? — спросил Алкаш.— Я у них давно не был.

— Ну, я-то их нередко вижу. В театре.

— Да, ты у нас заядлый театрал! — съязвил Алкаш.— Все топишь?

— Да, бывает и топло,— смиренно отвечал Штифт,— а бывает и спектакли курирую.

Они засмеялись.

— Ох, ну и погодка! — Алкаш зябко поежился.

— Что ты хочешь — февраль!

Татьяна открыла дверь и обрадовалась:

— Мальчики! Как хорошо! А у Коли студийцы. Спектакль новый обсуждают.

— Какой же спектакль? — удивился Штифт.

— «Каменный гость», пушкинский. У Коли интересная идея.

— Пойду, пожалуй, посмотрю паноптикум,— сказал Алкаш,— принеси мне кваску, а?

— Хорошо. Ты тоже пойдешь? — повернулась она к Штифту.

— Чего я там не видел? Разве на Алиску глянуть! — он засмеялся.— Пойду, однако, поздороваюсь с Николаем.

Они вошли в комнату. Николай что-то говорил, ребята, человек 5-6, слушали внимательно. В углу, на старом стуле сидел как всегда Иванов, живая «мебель». На него никто не обращал внимания.

— А-а, братва! — протянул Николай и потянулся для рукопожатия

В центре стола, очень картинно, сидела Алиска-марсианка. Увидев Штифта, она поразилась и бросила на него недоуменный взгляд, в котором ясно читалось: «Что ты, истопник, кочегар делаешь в доме моего божества?»

Николай, отметив «мизансцену», улыбнулся:

— Володя — мой большой друг.

Брови Алиски поползли вверх, но пристрастия божества не обсуждались, и потому она, сменив позу и выражение кукольного личика, взглянула на Штифта со всей возможной любезностью. Штифт ослабил в самой простецкой улыбке.

— Красуемся, детка? — с бархатцем в голосе проговорил он. Алиска дернула плечиком и отвернулась. Штифт вышел из комнаты и пошел на кухню.

— Тут у нас такая идея свежая,— начал объяснять Николай,— хотим новый поворот в старом сюжете произвести.

— Николай Иванович хочет, это он придумал! — проговорила Алиска восхищенно, посылая при этом Алкашу один из самых неотразимых своих взглядов — взгляд простодушной невинности. Но Алкаш на нее даже не глянул. «Мужлан. Жлоб толсторожий»,— сделала про себя вывод Алиска и уставилась на него испытанным, «марсианским» взглядом. Но и этот, обычно сражающий наповал, взгляд не был замечен. Алиска надулась.

— Что за сюжет? — спросил он Николая.

— «Каменный гость» Пушкина.

— А-а, да, Татьяна говорила. Ну и в чем же суть?

— Суть чего? — спросил Николай.

— Суть новизны?

— А-а! — обрадовался Николай.— Все раскроет последняя мизансцена! Помнишь: — гром! далее: «как страшно пожатие каменной его десницы», и они с Командором проваливаются в ад.

— Они — Дон Жуан и Командор,— пояснила Алиска, сочтя Алкаша совершенным неучем.

— Ну ты, это...— недовольно протянул Николай, а Алкаш даже головы не повернул.

— Так что там нового-то будет? — снова спросил он Николая.

— А новое — вот что,— в радостном запале заговорил Николай,— обычно тут все и кончается — грохот, темнота... занавес. А у нас это еще не конец. Конец наш поставит смысловую точку в жизни Дон Жуана.

— Точку, — бесстрастно повторил Алкаш.

— Да! — еще более загораясь, ответил Николай.— Представь: молния на заднике во всю сцену, страшный раскат грома, крик гибнущего Дон Жуана, темнота... И вдруг луч света выхватывает среди тьмы съезжившуюся фигурку донны Анны. Она на полу, руки сжаты на груди и только глаза! Глаза полные ужаса устремлены в зал. Глаза постепенно пустеют, теряют всякое выражение. Она смотрит не на людей в зале. Она их не видит! Ее взгляд устремлен в некую точку, туда, куда как в вакуум, со свистом уходит все, что только начиналось в ее короткой жизни. Новые, неведомые

чувства, новые надежды! Ведь она практически не жила, ее девочкой отдали за богатого, властного старика.

— Понятно,— неопределенно сказал Алкаш. Николай глянул на него вопросительно.

— Ну, и как тебе мысль? — спросил он нетерпеливо.

— Да я как-то не врубился.

Николай вспыхнул:

— Что же тут непонятного! — почти закричал он.— Все до сих пор любовались Дон Жуаном. Герой! Но ведь это герой... как бы сказать... неадекватный. В чем героизм? Ну да. Он был дерзкий человек, отличный бретер, накалывал соперников на шпагу, как мотыльков. Это все приманчиво, я понимаю. Но ведь это человек, который никогда, повторяю, НИКОГДА не любил! У него просто не было такой способности.

— Да, пожалуй,— согласился Алкаш.

Николай обрадовался:

— Понимаешь? Понимаешь? Ведь нелюбовь, можно так определить это качество, это его главное. Это человек авантюры, питается исключительно адреналином. Лиши его этой возможности, он быстро захиреет и умрет.

— Ну, ты его несколько сужаешь. Пушкин все-таки смотрел на него с интересом.

— Да, конечно. Дон Жуан — это, конечно, уникал, можно сказать — штучное явление, вобравшее в себя опыт множества людей и укрупнившее его, сведя к единой доминанте. Но и наш аспект тоже имеет право на существование. Тем более теперь, когда нравы все свободней и свободней. Я хочу обратить внимание на то, что остается за спиной такого человека.

— Что же?

— Разрушение. И, обрати внимание, никто никогда не думал о женщинах. Сквозь жизнь которых он проходил как шквал, как метеор. Он их луцил как семечки. И не оглядывался. Никогда! А вот она,— и он показал на Алиску,— заставит нас сделать это вместо него!

Алиска зарозовела.

— Ты посмотри на нее,— продолжал Николай,— она у нас в детских утренниках всяких зайчиков играла да белочек. Вершина достижений — Снежная королева. В голове — перекресток из двух извилин, дарования никакого. Но! — и он глянул на Алиску в упор.— Но! Все сделают глаза!

Глаза у Алиски на самом деле были примечательны. Огромные, светло-серые, ресницы пиками. Она умела им придавать самое разное выражение — от детской невинности до космического холода. И находилось немало мужчин, на которых ее взгляды действовали неотразимо. Но в близком приближении Алиска разочаровывала — так она была скучна и примитивна. На Николая она смотрела как на источник своей будущей славы. Ее совершенно не задевали уничижительные характеристики, которые он ей давал. Она смотрела преданно, с обожанием. Она была уверена в нем и не ошибалась. Спектакль на самом деле произвел сенсацию. Была даже статья с таким названием: «Герой уходит. Что остается?» Алиска была там отмечена. Слава пришла. Но, увы, ненадолго.

— Мы ей еще сделаем хорошенький грим, тени! Взгляд будет просто пробивать зал. Леша! — обратился он вдруг совершенно будничным тоном к студийцу, буквально евшему его восхищенными глазами.— Я ведь не девица, чтобы на меня так смотреть. Вот на нее так смотри... в сцене на кладбище!

Все засмеялись.

— Сходи-ка ты, друг, на кухню, чайку попроси.

На кухне шли свои разговоры. Татьяна, покуривая сигаретку, спросила:

— Когда же ты выполнишь обещание?

— Какое?
— Ты когда принесешь, наконец, стихи?
— А-а, вот оно что! А я, кстати, их захватил.
Он полез в карман и достал сложенный вчетверо лист бумаги.
— Наконец-то,— сказала Татьяна. Она подошла к Штифту близко и, внимательно глядя ему в глаза, спросила: — Володичка, почему ты стал так редко ходить к нам? Ты же знаешь, как мне недостает вас... тебя,
— Занят очень,— ответил Штифт, невинно глядя на нее.
— Пишешь! — утвердительно воскликнула Татьяна.
— Пишу,— скромно признался он.
— Что?
— Так,— уклончиво проговорил Штифт,— книжечку одну.
— Прозу?! — изумилась Татьяна.
— Да.
— Как интересно! Мне всегда нравилась проза, которую писали поэты. О чем это? И в каком жанре?
— Ну-у, жанр... как бы определить точнее... Пожалуй, роман-притча.
— Ты мне расскажешь? — еще более ласково проговорила она. Ее прекрасные, прозрачные глаза смотрели просительно. Штифт спасовал.
— Ну хорошо. Вообще-то, я не люблю рассказывать еще не написанное... Только с одним условием — ни-ко-му! На Аркашке, ни, тем более, Николаю!
— Конечно, конечно! Мог бы и не предупреждать, ты же меня знаешь!
— Вообще-то, это старая тема. Краткая суть: на человека сваливается богатство. Невероятное, чудовищное богатство.
— Откуда?
— Я этого не объясняю. Мне нужны чистые обстоятельства, голый факт. Роман так и начинается: «Однажды Клаус проснулся богатым».
— Клаус? Почему Клаус?
— Ну не Евгений же Иванович! Как ты себе это представляешь?
— Как? Ну, наследство, например.
— Кто же это ему у нас отдаст такое наследство? Да половину, если не больше, заберут. А чтобы получить все, ему придется уезжать из Союза. Нет, мне все эти объяснения ни к чему. Это все же будет притча.
— Ну, хорошо. И что будет дальше?
— Дальше? А представь: у человека хорошо, ровненько отлажена жизнь. Есть достаток. Дом свой. Машина. Семья. И вдруг — такое несчастье!
— Несчастье?
— Конечно! Ведь все, буквально все приходится менять. С разбегу! Все, что он имел, уже не годится. Вступают другие законы жизни, другие правила. Даже манерам, поведению богатого человека нужно учиться. Но нет ведь внутри той свободы, которая есть у богатых от рождения. Поэтому человек теряется. Затем глубокая трещина проходит сквозь все его существо, сквозь жизнь, домашние отношения. Жена меняться не желает, да и не может. Дети раскалываются на два лагеря. Он суетится, подозревает всех, что его не уважают как должно. Что богатые презирают, а все прежние друзья завидуют. Постепенно расстраивается здоровье, желудок — от переизбытка, от непривычной пищи — надо же соответствовать! Словом — картина неуклонного разрушения всех стереотипов — а ему уже за сорок, потеря внутренней опоры, чувства правды. И, наконец, полная гибель.
— Да-а,— протянула Татьяна,— интересно. Но и жутко.
— Жутко,— согласился Штифт,— но когда он просыпается....
— Просыпается?!

— Да, он просыпается. Я же говорю — это притча. Он просыпается, когда прыгает из окна десятиэтажного дома. Так вот, когда он просыпается и постепенно понимает, что ничего этого не было... что это просто сон, ужасный сон! Боже, каким счастливым он становится! Как прекрасна, как радостна ему кажется его обычная, маленькая жизнь! Он приходит в неисходный восторг, в бешеную эйфорию. Все время смеется, напевает, все комментирует. Для родных это совершенно необъяснимо, потому что произошло в одну ночь. И из спокойного, уравновешенного человека Клаус превращается, по их мнению, в какого-то радостного идиота. Он пытается объяснить, они еще больше пугаются. Тогда приглашают психиатра, и только он понимает, что произошло. Успокаивает семью, говорит, что это пройдет само и довольно скоро. При этом замечает, что именно Клаус из них всех — самый нормальный человек. Уезжает, оставляя семейство в подозрении, что он сам не совсем нормален...

— Володя, да ты просто гений!

— Интересно? Да? — обрадованно спросил Штифт.

— Не то слово!

— Татьяна Ивановна, — на кухню вошел студиец, — Николай Иванович просит чаю.

— А, сейчас! Он у меня уже готов. Собрав все необходимое, она ушла.

— Ну, рассказывай, — сказала она, вернувшись, — какие новости?

— Новости? — Штифт задумался.

— Да есть тут одна новость, — сказал он после небольшой паузы, — но новость-то того... печальная.

— Да? — брови у Татьяны поползли вверх.

— Огурец умер.

— Огурец? — не поняла Татьяна.

— Ну да. Дядя Толя-огурец.

— Ой! — ахнула Татьяна и закрыла рот ладонями.

— Две недели уж как похоронили. Мне Стукалов сказал. Он с дядей Толей рядом живет. В соседнем подъезде.

— И как же он умер? Отчего? — Татьяна никак не могла прийти в себя. Дядя Толя был всегда так полон жизни, невзирая на свою коляску, что представить его мертвым, да еще в гробу, казалось невозможным.

— Такая история... В общем-то, смешная. Если б не такой конец. Ну, словом, все началось с обычных выходок Огурца.

— Каких выходок?

— Ну, ты же знаешь его манеру комментировать статьи любой бабы.

— Да. И что? Это ж забавно очень. И вполне невинно!

— Это тебе забавно. А в том доме живут серьезные люди. Им это не показалось забавным.

— ?

— Да. Больше того, им это показалось возмутительным.

— Совсем народ с ума сошел, — заметила Татьяна.

— Ну, не знаю. Может, это мы слегка сумасшедшие? А они — нормальные советские люди, которые хотят жить спокойно. А тут их какой-то старый овощ на коляске всякими рыбами обзывает и вообще, употребляет какие-то непреподобные выражения! Короче: дядя Толя сидел на балконе, как на капитанском мостике, и был очень доволен: ему сверху все было видно. Ну и конечно «юмор» его расцвел до состояния сатиры. Пошли такие изысканные эпитеты, типа «сушеной воблы», камбалы и прочего. Вначале с ним пререкались снизу. Потом стали угрожать. А потом дамы из домового комитета обратились к участковому.

— Да-а-а, — протянула Татьяна, — город — это вам не поселок.

— Вот-вот,— назидательно проговорил Штифт,— город — это серьезно.

— Ну и что дальше? — с нетерпением спросила Татьяна.

— А дальше... В свой второй визит участковый пригрозил, что если домком соберет подписи, то дядю Толю выселят как возмутителя спокойствия и оскорбителя граждан.

— Господи, какой мрак!

— Да. После этого дядя Толя перестал выезжать на балкон. А где-то дня через три — обширный инсульт. И пришел «Кондратий». Вот так.

Штифт замолчал. Молчала и Татьяна. Потом, вздохнув, она сказала:

— Надо в церковь съездить, пожалуй. Свечку за него поставить.

— А у нас разве есть действующая церковь?

— Да. На кладбище. Я там была, когда Алешкину хоронили. Ты не знаешь. Это наша старая актриса, лет десять уже на пенсии была.

Штифт глянул на нее с интересом.

— А ты что, в церковь ходишь?

— Так, бываю иногда. По случаю,— неохотно проговорила Татьяна и переменяла тему:

— Вот они там,— она кивнула в сторону комнаты,— обсуждают новую Колину задумку. Дон Жуана он со студийцами ставит. А дядя Толя был истинный, бескорыстный Дон Жуан.

— Как это — бескорыстный? — спросил Штифт.— Небось был помоложе, так ходок был по бабам.

— Ничего подобного! Они с Маняшей прожили почти сорок лет. Я ее помню. И парализовало его именно тогда, когда ее хоронили. Он даже на похороны не попал. Потом все плакал: «Вот, я свою сурепку даже проводить не сумел!»

— Какую сурепку? — не понял Штифт.

— А это была у него самая ласковая кличка для Маняши. Он ее ведь, как орел цыпленка из гнезда, выхватил. Служил срочную в Латвии. Там вдоль дорог иногда целые ленты сурепки вьются. Такой невзрачный цветок, желтый, с одуряющим медовым ароматом. А у Маняши волосы были совершенно желтые, глаза голубые и конопущки на носу тоже желтые. И ведь как бывает в жизни! Он уже был практически дембелем. Какая-то неделя оставалась. Пошел на танцульки в последний раз со своей кралей и там увидел Маняшу. Тут же бросил кралю, к Маняше прилип и за один вечер уговорил замуж.

— Ай да Толя! Вот вам и огурец! — восхитился Штифт.

— Не называй его, пожалуйста, больше так. Как-то это мертвому неприлично,— попросила Татьяна и тут же охнула: — Ну никак, никак не могу уложить в уме, что его больше нет!

— Ну, а дальше-то что? — спросил Штифт.

— А дальше? У нее, между прочим, был парень. И родителям ее он очень нравился. Поэтому, когда Маняша только заикнулась о новом женихе, поднялся такой скандал, что она испугалась и решила смириться. Тем более, знала-то она Толю всего один вечер. Но не тут-то было! Когда через два дня он ее подстерег, а он провожал ее с танцев и знал, где она живет... так вот, она ему сказала, что никуда не поедет. Он тут же, ее не слушая, схватил за руку и — к приятелю. Вечер провели, поговорили. Он другу говорит: «Не выпускай никуда! Я через два часа буду». А он уже получил все бумаги, деньги и билет. Поехал на вокзал, как-то уговорил сменить его место на два новых билета. И в чем была, в том и увез. С родителями помирились только, когда сын родился.

— Да-а-а! История прямо для романа! — проговорил Штифт.

— Бедный Толя,— вздохнула Татьяна,— он ведь одну свою сурепку и любил за

всю свою жизнь. А эти его словесные упражнения... Я так понимаю, что он нашел это занятие, только чтобы не прокиснуть одному... Другие в этой ситуации просто спиваются. Или находят себе какую-нибудь «бабушку». Ты думаешь, он инвалид и не нашел бы?

— Нашел бы. Бабы любят, когда можно пожалеть. Да и человек он был легкий, веселый.

— Да. А ведь его, можно сказать, убили. Если б не пришлось переезжать или люди подобрались бы другие, он может и пожил бы.

— Ничего мы в этой жизни не знаем,— грустно подытожил Штифт, не знаем даже, от какой ерунды может умереть человек.

Студийцы пили чай, с молодой жадностью набросившись на скромное угощение. Разговор стал спокойней, в основном, о каких-то мелочах студийной жизни. Даже Алиска забыла про свои позы, притихла и, отхлебывая из чашечки, исподтишка поглядывала на всех.

— Ну что ж,— сказал Алкаш, поднимаясь,— надо идти. Желаю успеха! — он пожал руку Николаю, кивнул всей честной компании и пошел к двери. Уже на пороге, остановился, развернулся и вдруг направился к Иванову, забытому в своем уголке. Тот в удивлении приподнялся. Алкаш протянул ему руку, и Иванов схватив ее обеими руками, восторженно затряс ее. Алкаш, слегка улыбнувшись, сказал: «Бывай» и вышел из комнаты.

— Ну что, пора! — сказал он Штифту, заходя на кухню.

— Ты посмотри на него,— повернулся Штифт к Татьяне,— ничего не замечаешь?

— Нет,— ответила она, а Алкаш недовольно нахмурился.

— Ладно тебе! — пробурчал он.

— А что — ладно? Не скрывать же такую новость от близких людей!

Татьяна с интересом слушала эту маленькую перепалку. Потом лицо ее озарилось радостной улыбкой.

— Вот-вот! — опередил ее Штифт, она сама уже догадалась,— и, повернувшись к ней, добавил: — Этот тип у нас женится. Хотел под сурдинку все проверить. Но разве от общественности скроешь такие вещи!

Татьяна подошла к Алкашу, протянула руки и сказала:

— Аркашенька, можно я тебя поцелую? Это самый умный и правильный поступок за последние десять лет твоей жизни! Мы с Колей давно уже одобрили твой выбор.

Алкаш просиял, и его одутловатая физиономия даже похорошела.

— Правда? — спросил он и схватил Татьяну за руки.

— Правда, правда,— засмеялась она,— я давно считала, что тебе надо обязательно жениться. Но... пока ты еще холостой, поцелуй все-таки допускается!

Аркаша рассмеялся и обнял Татьяну. За их спиной раздался какой-то «гыкающий» звук. Все повернулись. На пороге стоял в полном недоумении Николай. Компания дружно грянула.

— Колечка,— сквозь смех проговорила Татьяна,— не удивляйся! У нас — событие — Аркадий женится!

— Ну-у-у! — восхитился Николай.— А я уж думал — холостяком помрешь.

— Чего уж там,— проговорил Алкаш смущенно,— что еще осталось? Одна работа. Скука!

Уже на пороге он обернулся:

— Таня, а рецепт своего кваса ты мне напишешь? Катюшка будет делать мне,— и он смутился снова, впервые назвав при них свою невесту по имени.

— Аркаша,— погрузнев, ответила Татьяна,— напишу, конечно. Но это не значит, что женившись, ты меня... нас забудешь?

Он стоял в растерянности. Положение спас Николай:

— Ты к нам обязательно заходи вместе с ней! Мы ей будем все рады. Правда, Штифт?

Это был очень умный поворот разговора. Именно Штифта как главного пересмешника и боялся Алкаш.

— Знаю вас, шакалы вы кроткие! Загрызете девчушку.

Штифт картинно развел руками:

— Братцы! — произнес он с пафосом.— Да ведь Катюша теперь новый член нашей семьи! Причем самый очаровательный! Ну у кого же на нее язык шевельнется! — и он подмигнул Алкашу.

Гости ушли. Последним ушел Иванов, посидев немного на кухне, глядя, как Татьяна убирает, моет посуду.

— Иди, Левочка,— ласково сказала Татьяна,— уже поздно. Надо отдохнуть.— Иванов, вздохнув, поднялся.

— Я приду? — спросил он как всегда, будто опасаясь, что однажды ему ответят: «Не приходи, не надо»

— Конечно, Левочка, Я всегда рада видеть тебя!

И он ушел, успокоенный.

Татьяна сидела в уголке между холодильником и тумбочкой. Горел один маленький светильник над столом. На столе белел лист бумаги, стихи, принесенные Штифтом. Она их помнила смутно, одним лишь ощущением чего-то щемящего, грустного. И сейчас, когда стихи лежали перед ней, молчаливо напоминая об ушедшем времени, она почему-то побаивалась их, вернее того прикосновения к едва затянувшейся ране, которую они в себе таили. Стал вспоминаться последний их вечер там, в заветном домике на берегу, которого уже тоже нет, который уже тоже стал воспоминанием.

Вспомнился Боль-Мандо с заплаканным лицом, с совершенно детскими глазами и недетским переживанием... Леонтий, так замечательно примиривший всех своим пением. Кстати, надо сходить в больницу. Люсичка говорила, что что-то с почками — вроде ничего страшного, но... За эти полгода ведь уже второй раз кладут в стационар. Еще она сказала, что после больницы съездят в Одессу, там целый дом отдадут в их распоряжение на две недели, пока Виталий, их друг, будет на гастролях. Погода, конечно, не ах, но к тому времени весна уже войдет уже в полную силу...

Татьяна взяла листок, стала читать. «Хорошо, что я тушь сняла»,— подумала она. Слезы текли, она их не сдерживала. Потому что не было уже острой боли, на смену пришла печаль.

*Печаль пьянит. Но есть ли в ней вино?
Смешалось все. И, чашу пригубляя,
Понять не в силах. Чувствую: оно —
Скользкий блик утраченного рая.*

«Боже мой! — подумала Татьяна.— Как это тонко и точно! Стихи будто настоялись за это время».

*Мои друзья беспечно-веселы
И юмор их — особого посола
Кипит шампанское острот веселых
И сдвинуты стаканы и столы...*

... Штифт с Алкашом шли молча. Лупил дождь, небо, все заволоченное тучами, было непроглядно.

— Вот, всегда так,— пробормотал Штифт,— как выйду без зонта, так — нате вам! День-то был ясный.

— А что сейчас зонт? — спросил Алкаш.— При таком-то ветре. Поломает его, выкрутит, а толку...

Штифт зябко поежился и поднял повыше воротник своего старенького пальто. Показался троллейбус.

— Ну, будь,— сказал Алкаш.

— Я буду,— ответил Штифт,— и ты будь.

Алкаш глянул на него коротко. Потом хлопнул по плечу: «Все! Мой троллейбус»,— и побежав, вскочил на подножку. Дверь закрылась. Штифт еще глубже втянул голову в воротник. «Ночь злодейства, как написали бы лет сто назад»,— подумал он. Идти было еще минут пятнадцать. Ветер завыл с новой силой и плеснул горсть дождя прямо в лицо. «О Господи, прямо сиротство какое-то! Как там наш уважаемый Король Лир поживает?»

*...Не Каин я. Но рая я лишен.
Не Авель я. Но в жертву приносимый.
Сверлит меня вопрос невыносимый:
В чем сила наступающих времен?*

Утешало лишь одно: его ждет теплая комната, стол. Сегодня он не дежурит. Значит, можно писать. И Штифт бодро прибавил шагу.

...Николай вошел на кухню. Глянул подозрительно.

— Ты что, ревешь? — спросил он с неудовольствием.

— А чего? Что не так? — тут он увидел лист со стихами, присмотрелся и небрежно махнул рукой:

— Неужели из-за этого? Мне никогда не нравилось, как он пишет. Никакой простоты — все изыски.

— Мне нравится,— коротко ответила Татьяна.

— Это твое дело. Но мне не нравится, когда моя жена сидит одна и точит слезы ни о чем. Чем тебе тут плохо? А?

Татьяна помолчала, собираясь с мыслями. Она его слишком хорошо знала: он слишком ревнив ко всему, что занимает ее жизнь. Ему бы хотелось, чтобы он, единственно он был для нее всем. Она вздохнула «Это чисто мужское качество,— подумала она,— с ним бороться бесполезно».

— Ну что ты вздыхаешь! — уже раздражаясь, воскликнул Николай.

— Колечка,— заговорила Татьяна,— неужели так трудно понять мое состояние? Для тебя переезд обошелся почти незаметно. Ты всегда полон, кипишь замыслами, у тебя роли, студия. А моя внешняя жизнь, увы, не так богата. Поэтому мне не просто, ох, совсем не просто привыкнуть, перестроиться.

— Ах вот оно что! Дело, как всегда, во мне! Ну, конечно. В Риге я тебе не дал сниматься в кино. Кстати, нисколько не жалею!

— Коля! Колечка! — попыталась остановить его она, предчувствуя, куда может завести этот разговор. Но остановить Николая было уже не возможно.

— Второе,— он загнул палец на руке,— в Калининграде, когда Карогодский разглядел в тебе характерную актрису и уже строил планы, я увез тебя! Или, может, мне надо было отказаться от Гамлета? Ты еще скажи, что я тебе жизнь поломал, что ты несчастна!

— Коля! — крикнула Татьяна, стараясь его перебить.— Что ты несешь! Как я могу быть несчастна с человеком, которого я люблю! Люблю всю жизнь, с самой первой встречи!

Она шагнула к нему, обняла за шею и заглянула ему в глаза. Он, было, дернулся, но вдруг как бы споткнулся о ее проникновенный, глубокий взгляд. Она заговорила тихо, мягко, как с ребенком:

— Я ни о чем не жалею. И никогда не жалела. Ты же знаешь, что я живу твоей жизнью. Что я горжусь тем, что у меня такой гениальный муж!

Николай еще хмурился изо всех сил, но как всегда, не мог устоять перед ее ласковым тоном. Она его применяла не часто, считая, что такие вещи не должны становиться будничными. Поэтому ласка, нежность и прочее оставались всегда ее самым сильным оружием.

— Ну так чего ж ты тогда? — уже значительно спокойней спросил он.

— А я ничего,— ответила бодро Татьяна,— могу я хоть иногда слегка поплакать? Ведь я же женщина! Ты же не станешь, надеюсь, регламентировать мою личную жизнь до малейшего вдоха?

— Нет, конечно,— ответил он, совсем успокаиваясь.

— Ты лучше скажи, как там наши сыграли?

— А-а, продули. Один ноль в пользу канадцев,— сказал он с досадой.

— Вот-вот,— лукаво заметила Татьяна,— поэтому ты и пришел такой сердитый. Кстати, телевизор выключил?

— Да.

Татьяна отдернула занавеску. Было видно даже в темноте, как шквальный ветер косыми плетками дождя лупит по стеклу.

— Бедные ребята,— вздохнула она,— в такую погоду даже собаку на улицу не выгонишь. А Володе до общежития только пешком можно.

— Ничего, не сахарный, не растает,— сказал Николай,— спать идем?

— Идем,— еще раз вздохнула Татьяна и выключила на кухне свет. За окном ветер сильно раскачивал фонарь. Лампочка слегка мигала. «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...» — вспомнила Татьяна. Она еще какое-то время всматривалась в слепой, полный ненависти лик ночи, слушала шквальный рев ветра. И вдруг в памяти всплыли поразительные слова, услышанные ею однажды в церкви: «И ночь, и мрак, и воды пререкания истязуют землю Твою».

«Развиднеется ли к утру?» — с неясной тревогой подумала она и, покачав головой, задернула занавеску. Пора было ложиться спать...

